

Василь Быков Альпийская баллада

Встретиться с собой

19 июня 1945 года ему исполнился 21 год. И уже год, как дома из похоронки знали, что он «пал смертью храбрых».

Он погиб и вернулся, чтобы понять («понять» – слово тяжелое, более мучительное, чем слово «рассказать») то, что уже не избыть.

Лучшую книгу о нем Игорь Дедков назвал «Повесть о человеке, который выстоял». Это очень верное название. Он выстоял не только в войне. Тяжелее и невыносимее был вот этот самый труд понимания. Читатель, который пройдет сейчас путь его героев впервые, поймет, какие были потребны силы, чтобы прожить эти немыслимые жизни.

Его товарищи по поколению (Астафьев, Кондратьев, Воробьев) иногда брали «увольнительные» и писали свет детства, житейские радости, бедный и счастливый мир довоенной и послевоенной жизни. Василь Быков с самых первых рассказов говорил только о войне. В этом смысле он подлинно не вернулся оттуда. И с самого начала он не писал торжества и победы. А только последнее напряжение срыва, крайнего испытания, гибели, из которых нельзя было выбраться прежним.

Виктор Петрович Астафьев в последние годы часто говорил, что с войны вообще нельзя вернуться живым. Во всяком случае, нельзя вернуться победителем. Можно разве выстоять, что выше победы.

Тут разговор сразу приобретает тяжелый характер, каков он в последнее время неизбежно становился, когда речь заходила об Астафьеве и Быкове. Особенно об этих двоих. Они пошли в понимании войны дальше даже своих жестких, часто коримых и, к сожалению, до времени ушедших товарищей К. Воробьева и В. Кондратьева. Те еще были на святой и, при всей прямоте и резкости разговора, героической стороне.

Эти – на особицу и оба в конфликте с поколением, с общественной частью этого поколения, с теми, кто определил войну в раз и навсегда высокие и гордые, не подвергаемые резкому анализу страницы истории.

Василь Быков узнал властную силу этой общественной гордости раньше Астафьева, сразу после повести «Мертвым не больно», где двоящиеся герои (военный особист и обвинитель военного трибунала, которых солдат при послевоенной встрече принимает за одного человека) быстро нашли себе защиту в «Правде». Писателю скоро объяснили, что есть обстоятельства, в которых надо стрелять и судить своих для пользы общего дела, и изгнали повесть в молчание. Писатель еще и сам в этот час нетерпеливо спрашивал, искал прямого разговора и вполне в духе «оттепели» торопился выяснить цену человека и назвать зло злом с почти газетным простодушием: *«Менялись люди, происходили революции, человечество прорвалось в космос, освободило внутриатомную энергию. А те установки, вдолбленные в сознание их исполнителей, видно, стали их убеждением. Конечно, они сейчас не распинаются о них на каждом углу, но вот, оказывается, и не стыдятся»*. Не только не стыдятся, а его стыдят и «народным мнением» запрещают.

Позднее он уйдет на молчаливые поля одного художественного свидетельства, оставив нас наедине с героями самим решать степень правоты героев и автора. Конфликты сюжетов пойдут затягиваться все туже. А пути героев делаться все теснее. В дело вступит судьба, которая тут поистине суд Божий, форма проявления правды. Появится странное чувство, что все они, как сам автор, живут с похоронкой внутри, которая сразу освобождает человека от общественного лицемерия и защитного быта, выставляя его на узкий высокий порог, с

которого только и пути, что в гибель или в освобождающее понимание, которое внешне может закончиться той же гибелью, но внутренне – слепящим черным светом преображения. Черным, потому что никто из них не увидит победы своего прозрения, ибо она и вообще еще не совершена в мире. Человек еще остается в тенетах истории и самозащитной неправды, только на пути к подлинному человеку в себе. Автор не облегчает его путей, потому что, может быть, в высокой честности и не знает последних ответов и не торопит их самонадеянным разумом.

И если искать определение не одному автору («человек, который выстоял»), но всем его героям, всей мучающей Быкова неотступной идее, то вернее, наверное, было бы сказать: человек, который встретил себя.

...Зоська шла на очередное задание («Пойти и не вернуться»), а встретила любовь, чтобы тут же и потерять ее, и с сознанием едва открывшейся глубины мира обречено покатиться к гибели, потому что зло, оказалось расчетливее и беспощаднее ее чистоты. У войны свои правила, и их впервые понимает даже и вчера еще хороший партизан, а сегодня враг и противник Зоськи: *«Видно, нельзя так все сразу – жить для себя, для других, воевать, любить женщину и быть счастливым».*

...Старый солдат Агеев («Карьер») вернется во времена юности и будет долгое лето перекапывать старый карьер, чтобы успокоить себя, что четыре десятка лет назад, расстреливаемый здесь, он не погубил свою нечаянную возлюбленную, что чудо сберегло ее и он заплатил за все сам. Хотя они сразу были оба умны умом войны и не обманывали друг друга: *«Они старались не говорить о будущем, о том, что их ждет завтра, даже сегодня к вечеру, ночью. Они жили настоящим, каждым мгновением, ибо только это мгновение принадлежало им. Завтра для них могло не быть вовсе, вчера было давно и тоже не принадлежало им».*

Их открытия кажутся просты до бедности и нынешнему изощренному, вскормленному безопасным книжным знанием уму даже странны (о чем тут говорить?), но они знают что-то, что выше и значительнее слов, когда корят нас: *«Знаний о войне у вас хватает. Но вот атмосфера времени – это та тонкость, которую невозможно постичь логически. Это постигается шкурой. Кровью. Жизнью. Вам же этого не дано».*

И вот эту-то «атмосферу», эту непостижимую тонкость он и пишет из повести в повесть. Его настойчивость, его желание достучаться до нашего сознания почти болезненны. Иногда кажется, что мы в его книгах кружимся на одном месте, на малом пяточке земли, никогда не знавшей солнца. Он отлично слышит плоть, материю мира, потому что до войны учился скульптуре. Эта осязательная, ненастная «ощупь» изнуряет героев и читателя. Это выстуженное, враждебное человеку пространство трагедии, где и природа не знает света. Идут долгие глухие снега, льют ненастные дожди, мороз коробит бинты. Поля враждебны, леса чужды, дороги гибельны. Против них ополчается и время – не успевают дойти, дожить до рассвета, выйти к своим. Взбунтовавшаяся против войны жизнь ломает часы и времена года. Иногда этот мертвый холод выговаривается в самом имени повести.

«В тумане» проходит короткая и бесконечная, стремительная и вязко безысходная, с порога петлей затянувшаяся операция, в которой партизану Бурову надо было «просто» убить предателя. А все оказывается буднично и неразрешимо, словно туман стал вечным временем действия, мысли и жизни, и поднимется он, пожалуй, только, когда через два дня все герои повести, ничего не развязав и не сумев никому ничего объяснить, будут мертвы.

«Стужа» гонит вчерашнего комсомольца и молодого партийца, нынешнего партизана Азевича от деревни к деревне, где вчера он тяжело строил «светлое будущее», а сегодня ему нет пристанища, потому что он строил его слишком страшно. И теперь ему одинаково чужие и свои, и немцы.

До появления в литературе Василя Быкова такие сюжеты были не особенно в тягость. Ответы у авторов были готовы заранее, и предатель получал свое, партизан – свое. А тут погибает с клеймом предателя честный мужественный человек («В тумане»), и смерть навсегда уносит его тайну, и жена, сын, односельчане навсегда определяют его в молчаливые

черные списки. Так что война и по окончании доберет свое искаженными судьбами, продолжая свою страшную жатву.

Не жалко было бы районного инструктора Азевича («Стужа») – увечил жизнь деревни гибельной коллективизацией, ломал жернова, оставлял детей без хлеба – пусть теперь помечется чужим по родной земле. А только Быков таких задач с известным решением не ставит и бумагу на них не переводит. В том-то и беда, что парень-то обыкновенный, совестливый, самый-самый народ в его середине. Да только во всю его молодую жизнь *«чужая воля правила свой дьявольский бал на человеческих жизнях... Он жил чужой совестью, по чужим законам (один ли он? – а мы, мы все! – В.К.). Жизнь и люди распоряжались им как хотели, он был удобным инструментом в чужих руках, всегда безвольно готовым к употреблению»*. И он уже давно сам увидел, что *«если происходящее во вред живущим, то не на пользу и последующим»*, сам увидел, что *«свои со своими начали воевать давно и делали это с немалым успехом»*. Только что же, что понял, если над ним уже НКВД кружит, сжимая круги, и некуда ему деться. У немцев – стужа, у своих – стужа. И он мечется по повести, заметаемый снегом, и плетется за ним черный молчаливый пес, возросший на трупах, не подходя и не отставая, как мысль и судьба. Не знает герой, куда деть это свое понимание. Разве только на последнем пороге утешит себя надеждой, что после войны люди будут разумнее.

Нет другого утешения у Зоськи, нет у Бурова, нет у Азевича, нет у лейтенанта Никольского («Дожить до рассвета»), ведшего людей, чтобы взорвать немецкий склад, а потерявшего и склад, и бойцов. И даже свою жизнь израсходовавшего на никчемного тылового немца. Кажется, лейтенант за всех своих товарищей по этой повести и за всех других быковских героев в последний час с особой тоской ухватывается за эту бедную мысль о неведомом, не сужденном им будущем.

«Он хотел верить, что все, им совершенное в таких муках, должно где-то обнаружиться, сказаться в чем-то. Пусть не сегодня, не здесь, не на этой дороге... Но ведь должна же его мучительная смерть, как и тысячи других, не менее мучительных смертей, привести к какому-то результату в этой войне. Иначе как же погибать в совершеннейшей безнадежности относительно своей нужности на этой земле и в этой войне? Ведь зачем-то он родился, жил, столько боролся, страдал, пролил горячую кровь и теперь в муках отдавал свою жизнь. Должен же в этом быть какой-то пусть не очень значительный, но все же человеческий смысл...»

Должен, должен же быть смысл в гибели юной Зоськи, в гибели товарищей уцелевшего, не знающего успокоения Агеева, в смерти правого Бурова и «неправого», «предателя» Сущени? Должен, но в каждой повести писателя, как и в последних страшных книгах Астафьева, смущавших его воевавших сверстников, как будто все маячит вопрос, и душа не успокаивается доводами разума. И понемногу начинаешь понимать причины расхождения этих мужественных писателей со своими старыми оппонентами, которым все кажется, что писатели умаляют их подвиг, отнимают высокий смысл у их победной жизни.

Вот Буров («В тумане»), коченея, уже видя неизбежность смерти, думает о своей и до войны незавидной жизни: *«Других лет не было у Бурова. Именно эти выпали на его долю... И в этот последний час жизни ему становилось нестерпимо обидно за свою безвременно оборванную жизнь и скорую разлуку с белым светом... Не было времени жить, некогда по-человечески умереть»*. Значит, тогда не было, и вот теперь писатель не сулит ему утешения хотя бы в победной славе.

Это может показаться несправедливым, если только мы не поймем, что старым авторам, таким же насквозь израненным солдатам, жалко этих молодых людей, как своих детей, умирающих, не успев пожить и порой не успев даже и сказать того, что поняли, унеся в смерть правду, которая могла выправить и озарить их жизнь. Эти немые исповеди слышали только писатели. И для этого слышания им самим потребовались годы, и оттого их боль только острее боли всякого кажущегося себе насквозь правым читателя. Это тяжело прочесть, но это стократ тяжелее написать, выносить эту боль в себе, заглянуть в самое ее

дно и умереть с молодым Буровым, встать под расстрел с Агеевым, кружиться в мертвой стуже с Азевичем и вместе с лейтенантом Никольским вглядываться в темную правду совершающегося.

«– Жить хочешь?

– Жить? – почти удивился боец. – Не худо бы. Но...

Вот именно – но! Это НО дьявольским проклятием встало поперек их молодых жизней, уйти от него никуда было нельзя. В то памятное воскресное утро оно безжалостно разрубило мир на две половины, на одной из которых была жизнь со всеми ее немудрящими, но такими нужными человеку радостями, а на другой – преждевременная, страшная в своей обыденности смерть... Чтобы как-то обойти ее, обхитрить, пересилить на своем пути, продлить жизнь, нужны были невероятные усилия, труд, муки... Разумеется, чтобы выжить, надобно было победить, но победить можно было, лишь выжив, – в такое чертово колесо ввергла людей война. Защищая жизнь, страну, надо было убить, и убить не одного, а многих, и чем больше, тем надежнее становилось существование одного и всех. Жить через погибель врага – другого выхода на войне, видимо, не было».

Эта правда была понятна им там, в молодой жизни. Там они не спрашивали, а воевали и гибли. Но вот приходит время, и старые солдаты уже спрашивают не с минувшей истории – она была и ушла, и новое поколение почти не находит их книги мужественными, потому что теперь можно писать все, – они спрашивают с истории нынешней и завтрашней. Можно ли и вперед жить через погибель врага? И можно ли обрекать новые поколения на то же кружение в кровавой тьме, из которой не бывает победного выхода? Для этого они и возвращаются, возвращаются в тяжкое, истощающее силы прошедшее и растрavляют раны, которые так бойко заживила бодрая послевоенная литература.

Они выстояли в более важном. Им хватило мужества вернуться к полноте уже как будто похороненной правды, чтобы додумать то, что казалось навсегда решенным. Они не дождутся за это благодарности от старых сверстников, избравших самозащитный гнев, чтобы сохранить прошедшее только мужественно героическим (в стилистике А. Луначарского и Р. Рождественского – «Славно вы жили и умирали прекрасно»). Не дождутся и от молодых современников, которым уже скучна эта «тема» в любом ее переводе и кто уже готов избирать ее для иронических, а то и глумливых контекстов.

Но есть более важный и менее поспешный собеседник – время, есть мужественный разум, который понимает необходимость отвечать перед Богом за полноту человека и который медленно, может быть, по слову в столетие накапливает грядущую «декларацию прав человека», в которой не будет места жизни, завоеванной ценой гибели как можно большего числа других людей.

Опыт Василя Быкова и каждое слово этой горячей, страдающей, не сулящей ложного утешения книги освобождают человека от укороченной «правды», от духа лукавого мира, от пассивного круговорота истории, как от общего греха человечества. Всему свое время.

В один час мира и жизни Толстой скажет в «Войне и мире»: «...дубина народной войны поднялась со всею грозною и величественною силою и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие». Но когда дело совершится, мы услышим от него же: «Война самое гадкое дело в жизни». Василь Быков прошел этот путь весь и договорил эту правду словами нового века. И как та великая книга, эта продолжает дело вразумления человека, не умеющего выйти из круговорота исторической необходимости. Когда-нибудь эту правду услышим и мы.

Автор и его герои встретились с собой, с Господней полнотой ответственного понимания мира. Нам эта встреча еще предстоит.

В.Курбатов

Альпийская баллада

Глава первая

Он споткнулся, упал, но тут же вскочил, поняв, что, пока вокруг замешательство, надо куда-то убежать, скрыться, а может, и прорваться с завода. Но в вихревых потоках пыли, поглотившей цех, почти ничего не было видно, он чуть не угодил в черную пропасть воронки, где взорвалась бомба, по краю обежал яму. Чтобы не наткнуться на что-нибудь в пыли, выбросил вперед руку, а другой сжал пистолет; опять споткнувшись, перекатился через вывороченную взрывом бетонную глыбу, больно ударившись коленом. Вскочил уже босой, растеряв колодки, и ногам стало нестерпимо больно на беспорядочно заваливших цех бетонных обломках.

Сзади слышались крики, в другом конце помещения гулко протрещала автоматная очередь. «Черта с два!» – сказал себе Иван, вскочил на сброшенную с перекрытий железную ферму, оттуда перемахнул на косо рухнувший столб простенка. По простенку взбежал выше. Потянуло ветром, пыль постепенно рассеивалась, можно было оглядеться. Балансируя руками, он пробежал по какой-то бетонной балке и очутился на краю громоздких развалин цеха. Впереди в трех шагах и ниже было последнее его препятствие – полуразрушенная стена внешней ограды, а дальше, будто ничего в целом мире не произошло, безмятежно утопали в зелени улицы, пламенели под солнцем черепичные крыши домов и совсем близко на склоне призывно темнела хвойная чаща леса.

В одно мгновение охватив все это взглядом, он сунул в зубы пластмассовую рукоять пистолета и прыгнул. Острые железные шипы в гребне ограды требовали точного расчета, но ему удалось ухватиться за них руками и быстро перемахнуть на ту сторону. Падать, однако, помедлил, на вытянутых руках опустился пониже и потом оторвался. Упал в жесткие колючки бурьяна, вскочил, перехватил пистолет и изо всех сил помчался по картофельному участку вдоль провололочной сетки.

Сзади неслись крики и захлебистый лай собак, в нескольких местах протрещали очереди, поодаль взвизгнули пули. Кажется, начиналась погоня, его шансы убывали, но он уже не мог отказаться от ставшего большим, чем жизнь, намерения уйти, перемахнул через сетку ограды и по колючей шлаковой дорожке еще быстрее устремился вверх, к недалекой уже окраине.

Взрыв в цехе, наверно, всполошил население. По дорожке от белого дома во всю прыть мчались к заводу двое мальчишек, передний был с игрушечным ружьем в руках, но за кустарником они не заметили его. Иван выскочил из-за кустов акаций и едва не столкнулся с девушкой, несшей полную лейку. Та испуганно вскрикнула и выронила ее. Он молча пробежал мимо, из коротенького проулка выскочил на немощеную окраинную улицу, оглянулся по сторонам – улица была пуста. Иван перебежал ее, продрался сквозь пыльные заросли насаждений и упал. Впереди домов уже не было, на огромном крутом косогоре раскинулся некошенный, густо усеянный ромашками луг, у дороги дремотно качались метелки какой-то неведомой ему травы. Дальше и выше в распадках начинался лес, а над ним в знойном июльском небе теснились сизые громады Альп.

Сдерживая дыхание, Иван прислушался: сзади доносились крики и выстрелы, заливались овчарки, но это там, на заводе, за ним же, кажется, еще не гнались. Рукавом полосатой куртки он смахнул с лица пот, заливавший глаза, и приподнялся, определяя кратчайший путь вверх. Невдалеке был распадок, ближе других подступавший к городу, туда по крутому склону сбегали сверху редкие елочки. Иван снова вскочил на ноги.

Это оказалось чертовски трудным – все время бежать в гору: тело становилось чрезмерно грузным, от слабости подкашивались ноги. На середине косогора он снова оглянулся – собачий лай, кажется, уже доносился с окраины. Полоснула близкая очередь, но пуль он не услышал – значит, еще не по нему. По другим! Видно, там разбегались. Это облегчало его положение, надо было торопиться.

Но он выбивался из сил и с трудом одолевал пригорок. Сзади как на ладони был виден весь городок, переднюю часть которого занимали длинные, похожие на ангары корпуса

завода, там и сям чернели развалины – свежие следы бомбежки; длинная ограда в одном месте рухнула, за проломом дыбились искореженные фермы перекрытий – это от их бомбы. Там бегали, сустились люди. Иван пригнулся (его уже начал скрывать пригорок) и вяло побежал к ручью, возле которого наконец с облегчением распрямился. Лес был рядом, на склоне.

Иван замедлил бег, вытер рукавом лицо. Дальше путь пролегал по дну широкого травянистого распадка. Подъем становился круче, меж черных скользких камней шумно бурлил ручей. Вконец изморенный, Иван уже достиг первых разбросанных по склону елочек, когда снова услышал лай собак. Показалось, что они за пригорком, рядом, и он, опять выбиваясь из сил, побежал в гору. Хоть бы успеть добраться до хвойной чащи, там легче укрыться, как-нибудь обмануть преследователей или, если уж не суждено вырваться, погибнуть не зря.

Но добежать до леса Иван не успел.

Он взбирался по траве вверх, минуя большие и малые обломки скал с рассыпанной повсюду дресвой, и почти уже достиг еловой опушки, как сзади, будто вынырнув из-за пригорка, совсем близко залилась лаем собака. Иван кинулся к молодой елочке, затаившись, выглянул сквозь ветви – через бугор, мелькая в траве бурой спиной, по его следам мчалась овчарка.

Он понял, что до чащи ему не успеть. Шире расставив ноги, крепче сжал в руке пистолет. Он не знал, сколько в магазине патронов, интересоваться этим было поздно, хотя и понимал, что в патронах – его спасение. На минуту расслабил мускулы, стараясь дышать ровнее. Надо было успокоиться, собраться с силами, унять в груди сердце, чтоб ударить без промаха.

Собака увидела его, залилась громче, злее и, попарно выбрасывая сложенные лапы, устремилась вверх. Стоя за елью, Иван пригнулся, взглядом отмерил рубеж в какой-нибудь полусотне шагов возле каменного выступа в траве и направил туда пистолет. Овчарка стремительно приближалась, прижав к голове уши, вытянув хвост; уже стала видна ее раскрытая пасть с высунутым языком и хищным оскалом клыков. Иван затаил дыхание, напрягся, стараясь как можно лучше прицелиться, подпустил ее шагов на пятьдесят, выстрелил. И сразу же понял, что промазал. Пистолет дернулся в руке стволом вверх, в нос ударило пороховым смрадом, овчарка залаяла сильнее, и он, не целясь, наугад, поспешно выстрелил еще. Тотчас короткая радость блеснула в душе – собака отчаянно взвизгнула, взвилась, со всего маху ударилась о землю и в каких-нибудь двадцати шагах от него задержалась, забила в траве. Он уже готов был кинуться в лес, но тут увидел: огромный, с рыжими подпалинами на боках волкодав, задыхаясь, выскочил из-за камней. За ним, петляя в траве, тянулся длинный ременный повод.

Иван, не целясь, торопливо вскинул навстречу пистолет, но выстрела не последовало, очевидно, что-то заело. Перезарядить он не успел, лишь ударил по затворной планке ладонью, однако волкодав был уже рядом и прыгнул. Иван как-то увернулся за ель, собака, задев ветки, пронеслась мимо, но, казалось, еще не долетев до земли, перевернулась в воздухе и тут же с раскрытой пастью кинулась снова. Не зная, как защититься, Иван вскинул навстречу руки.

Это был точный и сильный прыжок. Пистолет выпал из рук Ивана, сам он не устоял на ногах и вместе с собакой покатился по склону. Казалось, все скоро кончится, но Иван, падая, успел схватить волкодава за ошейник и железным напряжением рук оттянул его от себя. Собака сильно царапнула когтями, где-то с треском разорвалась одежда. Одной рукой сжимая ошейник, другой Иван поймал переднюю собачью лапу и сильно выкрутил ее в сторону. Задыхаясь в борьбе, они еще раз перекатились друг через друга, потом, чтобы как-то удержаться сверху, Иван выбросил в сторону ноги, изо всех сил стараясь подмять под себя собаку. Наконец это ему удалось, и он, навалившись на пса всем телом, начал его душить. Но волкодав был чертовски силен, и Иван вдруг понял, что долго так не выдержит. Тогда, изловчившись, он последним усилием двинул его коленом. Волкодав взвизгнул и

резко дернулся, едва не вырвав из руки ошейник. Иван почувствовал, как под коленом будто хрястнуло что-то, и, выламывая пальцы, еще туже затянул ошейник. Но задушить пса у него не хватило силы, волкодав отчаянно рванулся и выскользнул из рук.

Иван сжался в ожидании нового прыжка, но собака не прыгнула – распластавшись рядом и вытянув толстую морду с выброшенным набок языком, она часто и сипло дышала, злобно глядя на человека. Натертые ошейником, у Ивана жгуче горели ладони, от перенапряжения нервно трепетала мышца в предплечье, чуть не выскакивало сердце из груди. Опустив на траву дрожащие руки, он стоял на коленях и почти дикими глазами глядел на собаку.

Они следили один за другим, боясь упустить первую попытку к прыжку, и в то же время Иван опасался, как бы не появились немцы. Через минуту он понял, что волкодав вряд ли бросится первым. Тогда он поднялся на ноги и, отступив в сторону, схватил в траве камень. Хотел им ударить собаку, но тут же раздумал. Волкодав судорожно выгнул хребет, видно, ему досталось не меньше, чем человеку, и он беспомощно, тихо скулил. Иван сделал несколько осторожных шагов назад. Волкодав приподнялся, тоже немного подвинулся, поводок его скользнул по траве. Но он не вскакивал. Иван, еще больше осмелев, устало побежал вверх, к ели, где уронил пистолет.

Собака завизжала от бессильной ярости, немного проползла по траве и остановилась. А человек поднял с травы браунинг и медленно, задыхаясь, насколько позволял остаток сил, побежал по распадку вверх, в еловую чащу.

Глава вторая

Минут через пять он уже был в лесу и бежал вдоль стремительного, с необыкновенно прозрачной водой ручья. На склоне стоял чистый, не захламленный валежником лес. Бежать, однако, мешали камни. Подъем становился все круче. Опасаясь новой погони, Иван сунулся было в ручей, чтоб скрыть от овчарок след, но вода ледяным холодом обожгла ноги, и он, пробежав шагов десять, выскочил на берег. Вскарabкался на скалистую кручу, на секунду остановился, чтобы перезарядить пистолет. Затвор выбросил на камни перекошенный патрон. Иван нагнулся за ним и вдруг замер – сквозь говорливое журчание ручья сзади донеслись голоса. Оставив патрон, он торопливо подался вверх, чуть в сторону от ручья, пролез сквозь чащу елового молодняка и, еле справляясь с дыханием, опустился на четвереньки.

Подул ветер, и в небо из-за гор выплыл косматый край тучи. Видимо, надвигался дождь. Иван осмотрелся, окинув взглядом камни под елями. Внизу как будто никого не было. Он уже хотел вскочить на ноги и побежать, как вдруг до его слуха донесся слегка приглушенный, настойчивый оклик:

– Руссо!

Он пригнулся ниже, подобрал в плечи голову – нет, то был не немец, скорее какой-нибудь гефтлиг. Но тут хоть бы выбраться самому. Он знал по собственному опыту, как это трудно, где уж там вести с собой какого-то доходягу. Немцы наверняка уже подняли тревогу. Не так это просто – удрать.

И он изо всех сил побежал дальше, карабкаясь меж камней и елей вверх, наискось по горному лесистому склону, так как лезть прямо уже не хватало сил. Ручей остался где-то в стороне, говор его притих; сильнее и отчетливее стали шуметь ели – свежий ветер настойчиво раскачивал вершины; солнце скрылось, помрачневшее небо все шире заволакивала темная туча. Было душно, куртка на спине промокла от пота. Полосатый берет Иван потерял еще при взрыве и теперь вытирал лицо рукавами, все время озираясь по сторонам и чутко вслушиваясь. Один раз он услышал далекий еще, но стремительно нараставший рев мотоциклов. Тут где-то проходила дорога, и немцы, по-видимому, послали погоню. Охваченный мрачным предчувствием, Иван напряженно обдумывал, как быть дальше, и в то же время по какому-то неясному звуку догадался, что сзади кто-то бежит.

Отскочив за мшистый комель ели, он щелкнул предохранителем браунинга. Треск мотоциклов приблизился: «Обкладывают, сволочи!» Иван оглянулся, опустился за елью на одно колено и приподнял сжатый в руке пистолет. Внизу снова раздался приглушенный стук по камням. Иван всмотрелся и уже отчетливо определил в зарослях место, где был человек. Вначале оттуда никто не показывался. Потом ветки закачались, и на прогалину из ельника выскочила легкая полосатая фигурка, метнула взглядом по склону.

– Руссо!

Женщина?! Этого еще не хватало! Он чуть не выругался с досады, но приближающийся рев мотоциклов переключил его внимание. Иван крутнулся на земле, не зная, куда податься: меж редких стволов его легко могли увидеть сверху. И он прыгнул в неглубокую выемку-нишу под крутоверхой скалой, весь сжался, готовясь к отпору. Полосатая фигурка внизу на минуту исчезла за краем обрыва. Он теперь не смотрел туда, а напряженно слушал, больше всего остерегаясь мотоциклов. Но вот внизу, в двадцати шагах, из-за камня снова показалась женская фигура в длинной, не по росту, куртке с закатанными рукавами и красным треугольником на груди. Это была девушка. Она быстро огляделась по сторонам, и он заметил, как под черной шапкой волос с нескрываемой радостью блеснули такие же черные, словно две маслины, глаза.

– Чао!

Он слышал уже это слово – так всегда здоровались гефтлинги-итальянцы. Однако теперь, вслушиваясь в треск над головой, он сжался и молчал, ожидая, что она вот-вот юркнет в какое-нибудь укрытие. Но она, кажется, вовсе равнодушная к опасности, снова оглянулась и торопливо заговорила по-немецки, как ему показалось, кого-то прогоняя от себя. Взглянув в подлесок, Иван увидел за камнями еще одного в полосатом, который после окрика девушки сразу же шмыгнул в заросли. Иван хотел было кинуться прочь от этих непрошенных спутников, но девушка легко выскочила из-за обрыва, нагнулась, сунула ноги в колодки, которые до сих пор держала в руках, и, застучав ими, торопливо побежала к нему.

Мотоциклы ревели чуть ли не над их головами, и эта ее нелепая дерзость вызвала у Ивана гнев – их ведь легко могли тут заметить. Пригнувшись, Иван шагнул к девушке и за руку рванул ее под скалу. При этом он тихо, но с неудержимой яростью выругался. Она легко метнулась за ним, как вдруг одна ее колодка сорвалась с ноги и, застучав по камням, отлетела далеко в сторону.

– Ой, клумпес! – приглушенно вскрикнула девушка.

Мотоциклы один за другим, обдавая их грохотом, проносились совсем близко, но она, казалось не обращая на них внимания, вырвала у него руку и бросилась за своей колодкой. Иван не успел удержать ее, только в гневе стукнул кулаком по камню и скрипнул зубами. Девушка между тем подхватила колодку и кинулась назад. И тогда Иван, встретившись с азартно блеснувшим взглядом девушки, зло ударил ее по лицу.

Удар обжег ей щеку. Она коротко вскрикнула, но не отшатнулась, не побежала, а упала под скалу рядом и из-под локтя кинула на него взгляд, полный не гнева, а скорее озорного удивления.

Гул мотоциклов удалялся, и Иван пожалел, что не сдержал себя. Девушка на минуту сосредоточилась, округлила глаза, прислушалась, казалось, только теперь осознав, что им угрожало, и, приподняв ногу в полосатой запачканной штанине, надела на ступню колодку. Потом еще раз взглянула на него и, по-детски неумело выговаривая слова, будто картавя, повторила его ругательство.

Это было так же неожиданно, как и его пощечина, и так необычно, что в нем будто что-то сдвинулось, сместилось – человеческое на минуту хлынуло в его заскорузлую душу, и он впервые за сегодняшний день удивленно и широко раскрыл глаза:

– Ого!

– Ого! – повторила, как бы передразнивая, она, обнаружив тем свою нарочитую обиду, и впервые с заметным любопытством оглядела его. Полные губы ее были капризно поджаты, но в глазах уже появились готовые вот-вот запрыгать озорные смешливые чертики. Казалось,

он где-то уже видел их, эти непонятные глаза на смуглом, сильно исхудавшем лице, и, почувствовав что-то новое в себе, нахмурился. Обжигающая красота девушки, ее необыкновенное бесстрашие в этом их более чем сложном положении вовсе сбили его с толку.

– Ты куда бежишь? – строго спросил он, глядя на ее поджатые, в колодках ноги.

– Вас?

– Вас! Вас! Куда бежишь?

– Руссо бежишь – их бежишь.

Не удержавшись, он исподлобья смерил ее злым взглядом – все ее подвижное, с тонкими чертами лицо выражало желание понять его. Густые черные брови, сросшиеся над переносьем, были высоко вскинуты.

– Ты знаешь, куда я бегу? Русланд бегу. Поймают, мне будет пух-пух. А тебе это. – Он чиркнул себя пальцем по шее и показал вверх – красноречивый интернациональный жест лагерников.

Она поняла, коротко улыбнулась, даже, показалось ему, фыркнула: мол, что мне виселица! И это ее безрассудное легкомыслие опять разозлило его:

– Расхрабрилась! Ну беги! Только без дураков. Я тебе не помощник.

– Конэчно! – дружелюбно улыбнулась девушка, и Иван подумал, что она не поняла его.

Он попытался было возразить, но в это время в стороне города опять послышались выстрелы, крики и лай собак. «Черт с ней, с этой девкой», – подумал Иван. Надо было пробираться дальше, и он быстро полез по склону.

Глава третья

Небо затянула сизая туча. Тревожно качались вершины елей. Лес беспокойно гудел, и первые капли дождя косыми трассами прочертили воздух между деревьями.

Иван, не сбавляя темпа, проворно лез меж стволов и камней, поблескивая голым коленом. Он только теперь заметил порванную собакой штанину и кровь на ноге. Пока стоял под скалой, рана, видимо, немного подсохла, а на ходу открылась и теперь кровоточила. Сбитые о камни, кровоточили на ногах пальцы. О какую-то колючку он больно уколол пятку и стал заметно прихрамывать.

Сзади все умолкло, погони не было слышно, но она должна была появиться, Иван знал, что немцы не оставят беглецов в покое. По-видимому, там уже подняли на ноги охрану, полицию. Это было очень трудно – удрать. Разве что поможет дождь, укроет, приглушит шаги, смоем следы. Острым беспокойным взглядом Иван ощупывал вокруг себя кусты, боясь наскочить на засаду. Временами он слышал за спиной торопливые шаги своей спутницы – она не отставала. Только иногда, уронив с ноги клумпес, девушка на минуту задерживалась, но потом бегом догоняла его и шла рядом. В такие моменты он слышал ее близкое частое дыхание.

Иван старался быть безразличным к ней; если бы девушка отстала совсем, он, возможно, даже вздохнул бы с облегчением, но все же, пока она была рядом, не мог прогнать ее, чтобы уйти одному. Он только думал: и откуда ее, на беду, прибило к нему, поди ж ты, вырвалась с завода, догнала. Уж на что он быстро бежал в гору, а вот не отстала. Правда, он немало времени потратил на борьбу с собаками – хорошо еще, что задержались, не набежали в ту минуту немцы...

Дождь между тем усилился. Плотнее окутал лесистые склоны теплый туман. Это радовало беглецов, так как в ненастную погоду было легче укрыться в лесу и подальше отойти от города.

Только идти под дождем было не очень удобно. Промокшая до нитки куртка неприятно прилипала к телу, штанины также намокли снизу, и Иван подвернул их, как, бывало, на сенокосе, до самых колен. Он с удовлетворением заметил, что под дождем потемнела полосатая, заметная издали его одежда. Только вот проклятые круги-мишени, выведенные

масляной краской, по-прежнему топорщились на груди. Они не намокали и стали еще заметнее на потемневшей куртке.

Так прошел час, а может, и больше. Продираясь сквозь мокрый молодой кустарник с натянутой между ветвями паутиной, в которой дрожали мельчайшие капли воды, Иван вдруг увидел дорогу. Гладкая, блестящая от непогоды бетонная полоса ее плавно изгибалась на повороте и исчезала вверху. Он остановился, прислушался – кажется, дорога была пуста. Тогда он оглянулся: девушка, нетерпеливо отстраняя от лица мокрые ветви, пробиралась к нему. Видимо, надо было подождать ее и дорогу перейти вместе, иначе она могла сделать что-то не так и выдать обоих.

Девушка подошла, устало остановилась рядом и, увидев дорогу, уже с большей осмотрительностью, чем недавно, отнеслась к опасности. Иван коротко скользнул взглядом по ее мокрой куртке, которая плотно облегла гибкую и тонкую фигурку, и снова с досадой поморщился – так все это не шло к обстановке, в которой они оказались. Она же, видно, рада была минутной задержке: немного отдышавшись, взялась одной рукой за ствол сосенки, другой вылила из колодок воду и устало вздохнула.

Иван подождал немного, пока она отдышится, потом направился к дороге. Девушка осторожно пошла сзади.

Возле дороги он снова огляделся, подбежал к забетонированному кювету, остановился, шепнул ей: «Иди сюда!» – и подал руку. Она без слов ухватила за его пальцы, глухо стукнув о бетон деревяшками, прыгнула через кювет. Иван коротко бросил: «Снимай!» – девушка послушно скинула клумпесы и подхватила их свободной рукой. Взявшись за руки, они выбежали на мокрые бетонные плиты дороги. Дождик сыпал уже часто и тотчас смывал их следы. Беглецы благополучно перебрались на другую сторону. Он выпустил ее руку. За кюветом она наколола ногу о щебенку, тихонько ойкнула, потом сунула ступни в колодки и быстро полезла за ним вверх по склону.

Склон тут был крутой, со стремнинами обрывов, поросший чахлыми кривыми деревцами, сквозь вершины которых виднелась внизу блестящая дуга дороги. Иван теперь уж не очень старался выдерживать темп: устал сам, да и девушка – он это чувствовал – уже на пределе своих, по-видимому, не слишком больших сил. На крутом подъеме, который он, преодолевая усталость, одолел первым, Иван остановился, наблюдая из-под развесистой суковатой сосны за тем, как карабкается вверх его спутница. Одна колодка у нее свалилась с ноги и по камням быстро покатила вниз. Она растерянно вскрикнула: «Санта Мадонна!» – оглянулась и устало села, по всей вероятности не решаясь спускаться за ней. Но вскоре все же полезла вниз, прихрамывая на одну ногу, подобрала колодку и снизу взглянула на Ивана. В ее взгляде теплилась молчаливая благодарность за то, что он не ушел без нее. Он спокойно опустил на сухую колючую землю между извилистыми корнями, поджидая, пока девушка вылезет из-под кручи. Добравшись до него, она в изнеможении упала рядом.

– Брось ты их к черту! – сказал он, имея в виду колодки.

Она подняла на него черные широкие глаза. Он показал на ее клумпесы и махнул рукой – брось, мол. Она, очевидно, поняла и отрицательно покачала головой, пошевелив при этом своей маленькой мокрой и, как показалось ему, слишком нежной стопой. Он сразу понял нелепость своего совета, так же как и то, что немало еще хлопот причинят ей эти непомерно большие деревянные.

Его ноги, исколотые на камнях и валежнике, тоже горели и саднили. Особенно донимала при ходьбе левая пятка. Теперь, невольно затягивая минуту передышки, он решил посмотреть, что там, и, поджав руками ногу, взглянул на влажную стопу.

– Руссо очень, очень фурьезо¹. Как это дойч?.. Бёзе!² – вдруг сказала она.

¹ Сердитый, злой (*итал.*).

² Сердитый, злой (*нем.*).

Иван за год пребывания в плену немного научился по-немецки и понял, что сказала она, но ответил не сразу. В пятке была заноза, которую он попробовал вытащить, по, как ни старался, не мог ухватить пальцами ее крохотный кончик.

– Бёзе! Доведут, так будешь и бёзе! – сердито проворчал он и добавил уже добрее: – А вообще я гут.

– Гут?

Она усмехнулась, обеими руками пригладила мокрые блестящие волосы и, вытерев о штаны ладони, придвинулась к нему:

– О, дай!

Он никак не мог взяться за конец занозы, а она легонько и удивительно просто холодными тонкими пальцами обхватила его большую ступню, поковыряла там и, нагнув голову, зубами больно ущипнула подошву. Он нерешительно дернул ногу, но она удержала, нащупала кончик, и, когда выпрямилась, в ровных ее зубах торчала маленькая ворсинка занозы.

Иван не удивился и не поблагодарил, а, подтянув ногу, взглянул на пятку, потер, попробовал наступить – стало, кажется, легче. Тогда он уже с большей приязнью, чем до сих пор, посмотрел на девушку, на ее мокрое смуглое похорошевшее лицо. Она не отвела улыбчивого взгляда, пальцами взяла из зубов занозу и кинула ее на ветер.

– Ловкая, да, – сдержанно, будто неохотно признавая ее достоинства, сказал он.

– Леф-ка-я, – повторила она и спросила: – Что ест леф-ка-я?

Должно быть, впервые за этот день он слегка улыбнулся и потерял пятерней стриженный мокрый затылок:

– Как тебе сказать? Ну, в общем, гут.

– Гут?

– Я. Гут.

– Ду гут, ихь гут³, – радостно сообщила она и засмеялась. А он, будто что-то припоминая или оценивая, дольше, чем прежде, посмотрел на нее. Она сразу спохватилась, зябко повела плечами, и тогда он подумал: надо идти. Ему не хотелось вылезать из-под этой сухой развесистой сосны, и все же он вынужден был встать. Дождь не переставал. С унылым однообразием шумел лес – видно, непогода сорвала облаву. Неизвестно, сколько узников прорвалось в горы, но, может, хоть кому-нибудь посчастливится уйти. Иван вспомнил третьего гефтлинга, который бежал за ними, и, прежде чем выйти из-под сосны, повернулся к девушке, вытряхивавшей сор из своих колодок.

– Это кто еще бежал за тобой?

– Бежал, да? Тама? Гефтлинг. Тэдэско гефтлинг⁴.

– Что, знакомый? Товарищ?

– Нон товарищ. Кранк гефтлинг. Болной, – тоненьким пальчиком она прикоснулась к своему виску.

– А, сумасшедший?

– Я, я.

«Гляди ты, а с ней можно разговаривать!» – с удовлетворением подумал Иван и отвел в сторону взгляд. Почему-то по-прежнему неловко было смотреть в ее черные, глубокие, широко раскрытые глаза, в которых так изменчиво отражались разнообразные чувства.

– Ладно. Черт с ним. Пошли.

Кажется, они порядком уже отошли от лагеря. Немцы, видно, упустили их. Душевное напряжение спало, и Иван, будто издалека, впервые мысленно оглянулся на то, что произошло в этот адски мучительный день.

³ Ты хороший, я хорошая (нем.).

⁴ Немец-узник (итало-нем.).

Глава четвертая

С утра они, пятеро военнопленных, в полуразрушенном во время ночной бомбежки цехе откапывали невзорвавшуюся бомбу.

У них уже не осталось ни малейшей надежды выжить в этом чудовищном комбинате смерти, и сегодня они решили в последний раз попытаться добыть свободу, или, как говорил маленький чернявый острослов по кличке Жук, если уж оставлять этот свет, так прежде стукнуть дверями.

Небезопасная и нелегкая их работа приближалась к концу.

Подвешивая бомбу ломami, они наконец освободили ее от завала и, придерживая за покореженный стабилизатор, осторожно положили на дно ямы. Дальше было самое рискованное и самое важное. Пока другие, затаив дыхание, замерли по сторонам, длиннорукий узник в полосатой, как и у всех, куртке с цветными кругами на груди и на спине, бывший черноморский моряк Голодай, накинул на взрыватель ключ и надавил на него всем телом. На его голых до локтей, мускулистых руках вздулись жилы, проступили вены на шее, и взрыватель слегка подался. Голодай еще раза два с усилием повернул ключ, а затем присел на корточки и начал быстро выкручивать взрыватель руками. Сильно деформировавшись при ударе о землю, взрыватель, конечно, был неисправен и в таком состоянии не годился для бомбы, минувшей ночью сброшенной с американского Б-29 или английского «Москито» на этот зажатый горными кряжами Альп австрийский городок. Но при дефектном взрывателе бомба была исправная и продолжала хранить в себе пятьсот килограммов тротила. На это и рассчитывали пятеро смертников. Как только отверстие в бомбе освободилось, Жук достал из-под куртки новенький взрыватель, добытый вчера от испорченной, с отбитым стабилизатором бомбы, и худыми нервными пальцами начал ввинчивать его вместо прежнего.

Парень спешил, не попадал в резьбу, железо лязгало, и Иван, чтобы кто-нибудь не набрел на них, приподнявшись, выглянул из ямы.

Поблизости, кажется, все было тихо. Над ними свисали покореженные балки. Из многочисленных проломов в крыше косо цедились на землю дымчатые лучи света. Было душно и пыльно. За рядом бетонных опор посреди цеха в освещенной солнцем пыли с редкими возгласами и глухим гомоном шевелились, сновали десятки людей, растаскивавших завалы и убиравших хлам. Там же теперь были и эсэсмань, которые предпочитали излишне не любопытствовать, когда обезвреживались бомбы, и обычно держались поодаль.

– Ну, сволочи, теперь ждите! – тихо, сдерживая гнев, сказал Жук.

Голодай, выпрямляясь над бомбой, буркнул:

– Помолчи. Скажешь гоп, когда перепрыгнешь.

– Ничего, братцы, ничего! – вытирая вспотевший лоб, проговорил в углу Янушка, бывший колхозный бригадир, а теперь одноглазый гефтлиг. По натуре он был скорее оптимистом, если только ими могли быть пленные в лагере. Несмотря на вытекший глаз и отбитую селезенку, он всегда и всех обнадеживал – и когда подбивал людей на побег, и когда в изодранной овчарками одежде под конвоем с немногими уцелевшими возвращался в лагерь.

Так высказали они свое отношение к задуманному, кроме разве Сребникова, который, беспрерывно кашляя, стоял у стены, да еще Ивана. Сребников с самого начала всю эту затею воспринял без энтузиазма, так как ему мало радости принесла бы даже удача – быстрее, чем лагерный режим и побои, его добивала чахотка. А Иван Терешка был просто молчун и не любил зря говорить, если и без того все было ясно.

Голодай вытер ладони о полосатые штаны и взглянул на людей: конечно, главным заводилой был он.

– Кто ударит?

Все на секунду притихли, опустили глаза, напряженно ощупывая ими длинный корпус

бомбы с разбегающимися царапинами на зеленых боках. Сосредоточился невеселый, с седой щетиной на запавших щеках Янушка; погасла нервная решимость в быстрых глазах Жука; Сребников даже кашлять перестал, опустил вдоль плоского тела руки – взгляд его стал невыносимо скорбным. Видно было, что вопрос этот беспокоил их с самого начала; все молчали, мучительно каждый про себя решая самое важное.

Крупное лицо Голодая выражало нетерпение и суровую решимость поставить все точки над «і».

– Добровольцев нет! – мрачно констатировал он. – Тогда потянем.

– Ага. Так лучше, – встрепнулся и подступил ближе к нему Жук.

– Что ж, потянем. По справедливости чтоб, – согласился Янушка.

Сдержанно и, кажется, с облегчением кашлянул Сребников. Терешка молча, одним ударом вогнал в землю конец ломика. Но Голодай, хлопнув себя по бедру, выругался:

– Потянешь тут. Ни спички, ни соломинки.

Нетерпеливо оглянувшись, он схватил лежавшую в углу ямы тяжелую с длинной рукояткой кувалду.

– Значит, так... Бери выше.

И присел, обхватив ручку у самого основания. Остальные подались к нему, нагнулись, сдвинув над кувалдой головы. Выше Голодая взялся рукой Жук, еще выше сцепились узловатые пальцы Янушки, затем ручку охватила ладонь Сребникова, за ней – широкая пятерня Терешки, потом опять Голодая, Жука, Янушки. И когда над сплетением рук остался маленький кончик черенка, его медленно коснулась дрожащая потная рука Сребникова.

Все невольно с облегчением вздохнули, поднялись и, постояв у стены, с полминуты старались не глядеть друг на друга. Голодай решительным жестом протянул кувалду тому, кто должен был с нею умереть.

– Так что по справедливости. Без обмана, – по-прежнему грубовато, но с едва заметной ноткой сочувствия сказал он.

Сребников почему-то перестал кашлять, пошатнулся, взял ручку кувалды, молча повернул ее в руках, попробовал переставить и опустил. Его полные неумной тоски глаза остановились на товарищах.

– Не разобью я, – тихо, тоном обреченного сказал он. – Не осилю.

Все снова притихли. Голодай гневно сверкнул глазами на смертника:

– Ты что?!

– Не разобью. Силы уже... мало, – уныло объяснил Сребников и тяжело, надрывно закашлялся.

Голодай посмотрел на него и вдруг зло выругался.

– Ну и ну! – язвительно проговорил Жук. – Вили-вили веревочку...

– Что ж... Ясное дело, где ему разбить. Ослабел, – готов был согласиться с происшедшим Янушка.

У Терешки внутри будто перевернулось что-то – хотя он и понимал, что Сребников не притворяется, но такая неожиданность вызвала у него гнев. С минуту он тяжело, исподлобья смотрел на больного, что-то решал про себя. Умирать он, конечно, не стремился. Как и все, хотел жить. Трижды пытался вырваться на волю (однажды дошел почти до Житомира). И тем не менее в жизни, оказывается, бывает момент, когда надо решиться закончить все одним взмахом.

И он шагнул к Сребникову:

– Дай сюда.

Сребников удивленно моргнул скорбными глазами, послушно разнял пальцы. Терешка переставил кувалду к себе и немного смущенно скомандовал:

– Ну, что стали? Берем. Чего ждать?

Суровый Голодай, нервный Жук, озабоченный Янушка с недоумением взглянули на него и, оживившись вдруг, подступили к бомбе.

– Взяли! Жук – веревку. Лаги давайте. Куда лаги девали? – с неестественной бодростью

распоряжался Терешка и в поисках заранее припасенных палок выглянул из ямы.

Но тут же он вздрогнул, остальные замерли рядом. Предчувствуя беду, Терешка медленно выпрямился во весь рост.

Невдалеке от ямы в пыльном потоке косых лучей стоял командофюрер Зандлер. Он сразу увидел Ивана, их взгляды встретились, и Зандлер кивнул головой:

– Ком!

Терешка выругался про себя, отставил к стене кувалду и быстро (медлить в таком случае было нельзя) по откосу вылез на раскиданную вокруг ямы землю. Сзади, настороженные, притихли, притаились товарищи.

В пыльном, пустом с этого конца цехе (боясь взрыва бомбы, немцы повытаскивали отсюда станки) было душно, повсюду из пробитой крыши струились на пол пыльные лучи полуденного солнца. В другом, разрушенном конце огромного, как ангар, сооружения, где разбирала завал команда женщин из сектора «С», сновали десятки людей с носилками; по насланным на землю доскам женщины гоняли груженные щебенкой тачки.

Зандлер стоял в проходе под рядом опор, сбоку от большого пятна света на бетонном полу, и, заложив за спину руки, ждал. Терешка быстро сбежал с кучи земли, деревяшки его громко простучали и стихли. Хмуря широкие русые брови, он остановился в пяти шагах от Зандлера, как раз на освещенном квадрате пола. Эсэсовец, вынеся из-за спины одну руку, пальцами дернул широкий козырек фуражки:

– Ви ист мит дер бомбе?⁵

– Скоро. Глейх⁶, – сдержанно сказал Иван.

– Шнеллер хинаустрaген!⁷

Зандлер подозрительно поглядел в сторону ямы, из которой торчали головы четырех пленных, потом испытующе – на Ивана; тот стоял по-солдатски собранный, готовый ко всему. Острым взглядом он впился в бритое загорелое лицо немца. Оно было преисполнено сознания власти и достоинства. В то же время Иван настороженно следил за каждым движением его правой руки. Неподалеку от них, на другой половине цеха, две женщины в полосатой одежде опустили на землю носилки и, пересиливая страх, с любопытством ждали, что будет дальше. Немец, скользнув взглядом по плечистой фигуре гефтлинга, внешне выражавшей только готовность к действию, понял это по-своему. Ступив ближе, он протянул к нему ногу в запыленном сапоге.

– Чисто! – спутав ударение, кивнул он на сапог.

Иван, разумеется, понял, что от него требовалось (это не было тут в новинку), но на мгновение растерялся от неожиданности (только что он подготовился совсем к другому) и несколько секунд помедлил. Зандлер ждал с угрозой на жестком скуластом лице. Дольше медлить было нельзя, и парень опустился возле его ног. Это унижало, бесило, и Иван внутренне сжался, подавляя свой непокорный, такой неуместный тут гнев.

Согнувшись, он чистил сапог натянутыми рукавами куртки. Сапоги были новые, аккуратно чищенные по утрам, и вскоре головка первого стала ярко отражать солнце. Потом заблестели голенища и задник, только в ранту еще осталось немного пыли да на самом носке никак не затиралась свежая царапина. Командофюрер тем временем, щелкнув зажигалкой, прикурил, спрятал в карман портсигар. На Ивана дохнуло запахом сигареты – это мучительно раздражало обоняние. Затем немец, кажется, стряхнул пепел. На стриженую голову Ивана посыпались искры, какая-то недогоревшая соринка больно обожгла шею. Гнев

⁵ Ну как там бомба? (нем.)

⁶ Сейчас (нем.).

⁷ Быстрей выносите! (нем.)

с большей силой вспыхнул в нем, и он еле сдерживал себя – так хотелось вскочить, ударить, сбить с ног, растоптать этого поганца. Но он чистил сапог, борясь с собой и стараясь как можно скорее отвязаться от немца. Тот, однако, не очень спешил, держал сапог до тех пор, пока он не заблестел от носка до колена. Потом отставил ногу назад, чтобы поставить вторую.

Иван немного выпрямился и в краткий миг этой передышки взглянул туда, где остановились, наблюдая за ними, несколько гефтлинов-женщин. Взглянул бегло, почти без всякого внимания, но вдруг что-то заставило его спохватиться. Тогда он посмотрел внимательнее, стараясь понять, в чем дело, и понял: лучше было бы провалиться сквозь землю, чем встречаться с таким уничтожающим презрением в этих женских глазах. Почему-то он не успел заметить ничего другого, не понял даже, было это молодое или, может, пожилое лицо, – взгляд этот будто кипятком плеснул в его душу нестерпимой болью укора. Между тем к его коленям придвинулся второй запыленный сапог с большим белым пятном на голенище. Немец нетерпеливо буркнул два слова и носком пнул пленного в грудь. Иван помедлил, что-то, еще позволявшее контролировать себя, вдруг оборвалось в нем. Его пальцы отпустили рукав и мертвой хваткой впились ногтями в ладонь. Подхваченный гневной силой, от которой неудержимой тяжестью налились кулаки, он вскочил на ноги и бешено ударил немца в челюсть. Это случилось так быстро, что Иван сам даже удивился, увидев Зандлера лежащим на бетонном полу. Поодаль, подпрыгивая, катилась его фуражка.

Все еще не до конца осознав смысл происшедшего, Иван, вобрав голову в плечи и широко расставив ноги, с туго сжатыми кулаками стоял над немцем. Он ждал, что Зандлер сразу же вскочит и бросится на него. До слуха откуда-то издалека донеслись возбужденные разноязыкие восклицания, только он не соображал уже, осуждали они или предупреждали. Эсэсман, однако, не бросился на пленного, а неторопливо, будто преодолевая боль, повернулся на бок, сел, медленно поднял с пола фуражку, несколькими щелчками сбил с нее пыль. Кажется, он не спешил вставать. Сидел, широко раскинув ноги в одном блестящем и другом нечищенном сапоге, будто безразличный ко всему, пригладил рукой волосы, надел фуражку. Только после этого поднял на взбешенного и заметно растерявшегося пленного тяжелый угрожающий взгляд и тут же решительно рванул на ремне кожаный язычок кобуры.

В голове Ивана молнией сверкнула мысль: «Все кончено!» Щелкнул затвор пистолета, и немец с внезапной стремительностью вскочил на ноги. Это сразу вывело Ивана из оцепенения, и, чтобы умереть не даром, он ринулся головой на врага.

Ударить, однако, он не успел: земля вдруг вздрогнула, подскочила, внезапный громовой взрыв подбросил его, оглушил и кинул в черную пропасть. Немца и все вокруг накрыло облаком коричневой едкой пыли.

Через секунду Иван почувствовал, что уже лежит на полу, а кругом что-то падает, сыплется, что-то дымно, зловонно шипит, жаром горит спина; почему-то с опозданием рядом упал и вдребезги разлетелся кирпич. Иван огляделся – по бетонному полу беспомощно скреб знакомый, с царапиной на носке сапог, в клубах пыли дергалась, пытаясь куда-то отползти, фигура врага. Иван схватил из-под бока тяжелый кусок бетона и с размаху ударил им немца в спину. Зандлер ахнул, мотнул в воздухе рукой. Этот жест напомнил Ивану о пистолете. На коленях он перевалился через эсэсмана, рванул из его полурасжатых пальцев пистолет и с бешеным стуком в груди бросился в вихревое облако пыли...

Глава пятая

Мрачная бесприютная ночь застала беглецов в каком-то каменистом, заросшем кривым сосняком ущелье, которое, постепенно суживаясь, полого подымалось вверх.

Не так проворно, как прежде, Иван лез по замшелым камням, изредка останавливаясь, чтобы подождать девушку, которая из последних сил упорно продвигалась за ним. Он хотел во что бы то ни стало выбраться из этой мрачной расселины. Там, наверху, наверно, был реже мрак, который густым туманом начал заполнять ущелье. Но у него уже не хватало на

это ни решимости, ни силы. Вместе с тем очень хотелось как можно дальше отойти от города, до конца использовать этот дождливый вечер, который так кстати выдался сегодня и надежно скрыл от овчарок след беглецов. Изнемогая, Иван все выше и выше забирался в горы, ибо только там, в Альпах, можно было уйти от погони, а внизу, на дорогах, в долинах, их ждала смерть.

Проклятые горы! Иван был благодарен им за их недоступность для немецких охранников и мотоциклистов, но он уже начал и ненавидеть их за то, что они так безжалостно отнимали силы и могли, как видно, вконец измотать человека. Это совсем не то, что его последний побег из Силезии: там легко было ночью шагать по полям и лугам – звезды в светлом небе указывали путь на родину. Они шли тогда небольшой группой. Тайно пробираясь в немецкие села и фольварки бауэров, добывали кое-что из съестного – главным образом овощи, а также молоко из бидонов, подготовленных у калиток для отправки по утрам в город. Весь долгий, мучительный от бездействия день, поочередно бодрствуя, сидели, забившись где-нибудь во ржи или кустарнике. Правда, страху натерпелись и там. Целый месяц, оборванные, небритые, страшные, пробирались они к желанным границам родной земли. Неизвестно, как остальным, а ему очень не повезло тогда: вырвавшись из рук эсэсовцев, он попал в руки таких же сволочей, которые с виду показались своими. Когда его везли в город, то просто не верилось, что они не шутят, – такие это были обыкновенные деревенские парни, незлобиво ругавшиеся на понятном языке, одетые в поношенные крестьянские свитки и, кроме дробовиков, не имевшие другого оружия. Только у того, что был с белой повязкой на рукаве, висел на плече немецкий карабин...

А теперь вот горы, Лахтальские Альпы – неведомый, загадочный, никогда не виданный край, и снова – маленькая упрямая надежда обрести свободу.

Иван очень устал, и, когда начал присматриваться, где бы приютиться на ночь, сзади глухо стукнуло что-то, и по обрыву посыпались камни. Он оглянулся – его спутница лежала на склоне и, казалось, даже не пыталась подняться. Тогда и он остановился, выпрямился, перевел дыхание. Уже смеркалось. Сверху почти неслышно моросил мелкий, как пыль, дождь. Вокруг тускло серели громады камней. Беспорядочными космами чернели вверху сосны. Отяжеленное непогодой и мраком, низко осело небо. Мокрая одежда, нагреваясь при ходьбе, слегка парила, и влажную спину – стоило только остановиться – сотрясала дрожь. Он видел издали темный силуэт спутницы, едва заметные движения ее головы и неподвижные, голые до локтей руки – она не вставала. Тогда он сошел вниз, сунул за пазуху пистолет и, нагнувшись, бережно приподнял ее легкое тело. Она зашевелилась, села, не открывая глаз, и он, постояв, с досадой подумал, что придется, видно, заночевать здесь.

Иван осмотрелся – с одной стороны круто вверх поднималось нагромождение скал и камней, а с другой склон терялся внизу в сумеречной чаще леса. Оттуда полз и полз густой промозглый туман. Уже не видно было, какая там глубина, только где-то далеко, в сизой парной тишине, монотонно клочкотал ручей.

Терешка тронул девушку за плечо: дескать, подожди тут, а сам двинулся дальше, всмотрелся в сумрак – в одном месте над каменистым склоном слегка нависала скала. Убежище, конечно, было не ахти какое, но от дождя защищало, а на большее рассчитывать не приходилось.

Осторожно ступая по острым камням, он вернулся назад.

Удивительно, куда девалась недавняя живость этой девушки, ее смелость перед мотоциклистами – она выглядела теперь мокрой усталой птицей, нелепой судьбой брошенной в это ущелье. Тяжело дыша, девушка не реагировала на прикосновение его руки, не встала на ноги, а еще больше сжалась в маленький дрожащий комочек.

– Пошли передохнем, – сказал он. – Отдохнем, понимаешь? Ну, шлауфен, или, как тебе сказать...

На минуту она притихла, сдержала дрожь, однако продолжала сидеть, низко опустив голову. Он немного постоял, затем обеими руками подхватил ее, намереваясь перенести в укрытие. Девушка с неожиданной силой дернулась в его руках, что-то по-итальянски

вскрикнула, забила ногами, и он выпустил ее. Постояв минуту, смущенный, он со злостью подумал: «Ну и черт с тобой! Сиди тут, привереда этакая!» И ушел под скалу. Только теперь почувствовал он, как ослабел. Уже с закрытыми глазами натянул на затылок воротник куртки и уснул.

Как всегда, мир мгновенно перестал существовать для него, уступив место сумбурному кошмару снов. Этот переход был так незаметен, что казался продолжением мучительной яви. Всякий раз ему снился один и тот же сон: уже больше года почти каждую ночь он заново переживал муки одного дня войны.

Все начиналось с вполне реальной, тягостной атмосферы беды, которую приносит с собой военный разгром. И хотя переживания потеряли свою остроту, заслонились другими большими и малыми бедами, но во сне они с новой силой терзали его.

Как обычно, вначале перед ним вставала ободранная стена украинской мазанки, на углу которой углем было выведено: «Хоз. Алексеева» – и стрелка-указатель рядом. Надпись была примерно месячной давности, когда армия еще наступала на Змиев в обход Харькова. Теперь же войска двигались в обратном направлении. Ночью топили в реке тягачи – не было бензина, – разбрасывали по полю разобранные оружейные замки, жгли в садах штабные бумаги. На рассвете во дворе, где они приютились, после короткого совещания появился полковник, который командовал группой окруженных. Их роте было приказано прикрывать отход, и трое бойцов с молодым лейтенантом выкопали у крайней хаты узкий окоп-ровик.

Это запомнилось Ивану на всю жизнь, но теперь, в тревожном сне, почему-то тот полковник носился по двору с планшетом в руках и ругал Голодая, черноморского матроса, ставшего командиром роты автоматчиков. Неизвестно почему с ним, сержантом Терешкой, в окопе сидел не Абдурахманов, боец из их разбитой батареи, который почти ни слова не понимал по-русски, а флюгпункт Сребников. Вместо того чтобы готовить к бою свой пулемет, этот доходяга немецким тесаком лихорадочно соскребаёт с гимнастерки свои флюгпунктовские мишени и все бурчит про себя: «Ни шагу назад! Ни шагу назад!..» И вместе с тем вполне реальная картина того далекого утра: ясное весеннее небо, наискось через дорогу пролегла синеватая прохладная тень от мазанки, под плетнем вздрагивающая крапива и так же часто вздрагивающий надетый на кол кувшин. А за околицей по большаку в село идут танки. Они вот-вот должны появиться из-за угла этой мазанки, а Иван Терешка никак не может вставить в гранату запал. Из всех сил он запихивает его пальцами, но маленький латунный цилиндрик, будто став толще, чем надо, никак не лезет в отверстие. Терешка нервничает, спешит, бьет по нему кулаком, а когда спохватывается, то видит, что в окопе он один, что все уже отошли назад. И тогда приходит понимание того, что он не слышал команды об отходе. Иван бросается грудью на бруствер, обрушивая землю, старается вылезть из окопа, но налитое непонятной тяжестью тело не слушается его, и он сползает назад.

А танки уже рядом.

Вспугнутая их грохотом, из огородов в воздух взмывает огромная, в полнеба, стая воробьев. В стремительном полете она дружно сворачивает в одну сторону, потом вся вместе – в другую, и тотчас из-за хаты, взрыхлив на повороте землю, высовывается первый танк.

Иван понимает, что убежать не удастся, бессильно размахивается и бросает на дорогу гранату. Она почему-то не взрывается, а подскакивает и шипит, и танк вот-вот объедет ее. В это время из танка замечают окоп под стеной, танк сворачивает, и тогда невыразимый ужас пронизывает Терешку – это тридцатьчетверка.

На секунду Иван теряет самообладание от страха: что он натворил! Он бросается назад и тут почти натывается лицом на широкий ножевой штык, занесенный над ним: немец делает короткий выпад, и штык мягко и неслышно, будто в чужую, вонзается в его грудь. Иван знает, что это конец, что он убит, и захлебывается от отчаяния, хотя боли почему-то не чувствует...

Обычно в этот момент он в страхе просыпается, но сейчас сознание его действует как бы отдельно, где-то в стороне, оно ободряет, давая знать, что это еще не все, что впереди еще

плен, побеги и потому он не может погибнуть, даже будучи проткнут штыком.

Сновидения путаются, меняются, и вот он уже оказывается в деревне, в своих Терешках, на древней земле кривичей, и будто все это происходит еще до войны, даже до его призыва в армию. По прибитой овечьими копытами улице Иван бежит к колхозному амбару, куда – он это знает – пригнали со связанными руками Голодая и с ним еще нескольких знакомых гефтлингов. Сердце у Ивана разрывается от обиды, от напряжения. Кажется, он опоздает и не докажет людям, что нельзя срывать злость на пленных, что плен – не проступок их, а несчастье, что не они сдались в плен – их взяли, а некоторых даже сдали, предали – было и такое.

Но он не добегаёт до амбара. Босые ноги его увязают в грязи, он едва переставляет их. Немеют руки, все тело. Он бежит, как в воде, – медленно и трудно. Выбирая дорогу, сворачивает к изгороди и вдруг видит на ней чьи-то голенастые босые ноги. Он вскидывает голову: на верхней жерди сидит незнакомка – девушка с черными, высоко вскинутыми бровями, в белоснежном, сверкающем на солнце платье. Она лучисто улыбается ему черными, как созревшие сливы, глазами и говорит:

– Чао, Иван!

И он останавливается, вдруг забыв о Голодае, обо всем на свете. Он рад, счастлив, смущен встречей с ней. Она вдруг кажется ему давно знакомой, близкой, такой, что всю жизнь подсознательно жила в его мечтах. Сияя от радости, он подступает к изгороди, к девушке, но тут же, взглянув на себя, спохватывается – ведь он прибежал с поля, от трактора, на нем старые, залатанные на коленях штаны, вылинявшая на плечах рубашка и запачканные мазутом руки. Смущенный, он останавливается, мрачнеет. Она тоже сгоняет со своего необыкновенно солнечного лица светлую улыбку. Внезапно меркнет яркая белизна ее платья, и постепенно девушка исчезает, как привидение.

Тогда он бросается к изгороди, хватается за жерди, за переплетенные лозой колья, но тут перед ним возникает его мать. Положив на верхнюю жердь руки, она стоит по ту сторону изгороди в картофельной ботве и скорбно говорит:

– Фашистка она, сынок. Хлопцев твоих она немцам выдала...

«Где она? Где?» – хочется закричать ему, но он не может этого сделать, так как у него на шее веревка – черный шелковый шнурок, на котором под барабанный бой вешали заключенных в лагере. Веревка захлестывается, натягивается, другой конец ее, как поводок, тянется за недобитой им в распадке овчаркой. Овчарка сильно дергает поводок. Иван падает, хочет закричать, но у него нет голоса, и тут от какого-то внутреннего толчка он просыпается...

Глава шестая

– Ха-ха-ха! – раздается над ним звонкий девичий смех.

Он вскидывает голову, ощупывает шею, широко раскрывает заспанные глаза, и первое, что видит перед собой, – это яркая бездонная голубизна неба и белозубая девушка с веселой улыбкой.

– Конец шляуфен! Марш-марш надо!

Сразу же тело его, будто под током, содрогнулось от холода. Еще не избавившись от мучительных сновидений, он промолчал, с трудом переключаясь в реальный, со всеми его заботами, мир, взглянул на девушку, не разделяя ее веселости. А она, опершись на руку, сидела рядом и грызла стебелек травы, которым, видимо, пощекотала его. От вчерашней ее апатичности и изнеможения, казалось, не осталось и следа.

– Марш, говоришь? Ну поглядим.

– Глядим, глядим, – согласилась она, с лукавыми смешинками в глазах всматриваясь в его лицо.

А он, еще раз передернув плечами, быстро вскочил, часто замахал руками, начал выбрасывать в стороны ноги и приседать – испытанный солдатский прием, если хочешь

согреться. Она сначала удивилась, высоко вскинула широкие дуги-брови, потом вдруг засмеялась, коротко, но так громко, что он испуганно шикнул:

– Тише ты!

Она спохватилась, зажала ладонью рот и оглянулась. В ее глазах все еще прыгали неугомонные озорные чертики. Иван строго, с укором посмотрел на нее, потом вслушался, чувствуя, как одубевшее от холода тело понемногу наливалось теплом. Она вновь беззаботно-насмешливо прыснула:

– То гимнастик?

– Ну, гимнастика. А что, лучше мерзнуть?

Он был озабочен и вовсе не склонен к шуткам. Она, видимо, поняла это и стала серьезнее, нервно подернула узенькими худыми плечиками под влажной со вчерашнего дня курткой, вздохнула и с любопытством взглянула на него снизу.

По старой воинской привычке он прежде всего осмотрелся и понял, что действительно проспал, что давно уже рассвело. Солнце, правда, еще не выкатилось из-за гор, но безоблачное небо, казалось, звенело от утренней яркой голубизны. Всеми цветами радуги сияла противоположная, освещенная сторона ущелья – серые скалы, сосны, широкие крутые расселины и высоченные утесы. Эта же сторона дымчатой серой массой терпеливо дремала, еще не распрощавшись с сумраком ночи.

– Горы карашо! – увидев, что он всматривается в окружающее, сказала она. – Как это?.. Эстетике!

Стукнув своими колодками, она вскочила с камня, на котором сидела, и тоже выбежала из-под скалы, любуясь обилием солнца на противоположной стороне ущелья. Иван, однако, был безразличен к природе. Как и каждое утро в плену, вместе с пробуждением все его существо, каждую частицу тела охватило мучительное чувство пустоты – обычный, знакомый до мелочей приступ голода. Есть было нечего и теперь. Где в этих проклятых горах добыть еду, он не знал и в то же время совершенно отчетливо сознавал, что голодные они далеко не уйдут. Постояв немного, он проглотил слюну и, равнодушный к тому, что занимало ее, спросил:

– Ты куда пойдешь?

Она, не поняв, подняла брови.

– Марш-марш куда? – казалось, начиная раздражаться, повторил он и махнул в разных направлениях: – Туда или туда? Куда бежала?

– О, Остфронт! Рус фронт бежалъ.

Он удивленно взглянул на нее.

– Си, си⁸, – подтвердила она, видя его недоверие. – Синьорина карашо тэдэски⁹ пуф-пуф.

Вот это здорово! Ее наивность уже с утра начинала злить его. Иван, нахмурившись, глядел в это подвижное и чересчур, по его мнению, красивое лицо: не шутит ли она? Но она, по-видимому, не шутила, вполне серьезно высказала свое намерение и теперь, ожидая, что скажет Иван, бездонными глазами взглянула на него.

– Какое пуф-пуф? Глупости, – сказал он, плотнее закутываясь полами куртки.

– Вас? Что ест глупост? Руссо учит синьорина руски шпрехен?

– Посмотрим.

– Посмотрим ест карашо. Согласие, я? – шутливо допытывалась она. Но он не ответил – вздрогнул, ощутив на спине холодноватую влажность куртки, взглянул на нелепые круги-мишени на груди: надо позаботиться и об одежде; в этом полосатом одеянии не очень-то далеко уйдешь. И он, подцепив пальцами, с треском сорвал с куртки винкель и

⁸ Да, да (*итал.*).

⁹ Немцев (*итал.*).

номер; она по его примеру сразу же принялась сдирать свои. Но ноготки ее тонких пальцев были слишком нежны, а нитки не настолько слабы, чтоб легко поддаться. Тогда она шагнула к нему и, по-детски оттопырив полную нижнюю губу, повела плечом:

– Дай.

– Не дай, а на, – сказал он и повернулся к ней. Острые бугорки под влажной мешковиной куртки заставили его нахмуриться и сжать губы; она, заметив это, поспешно сгребла на груди складку и оттянула ее. После короткого колебания Иван взялся за уголок винкеля и сильно рванул его. Чтобы не оставлять следов, смял тряпки и сунул их в щель под камнем.

– Граacie! Спасибо.

– Ты где по-русски училась? – спросил он.

– Италия, Рома училь. Лягер русска синьорина Маруся училь. Карашо русска шпрехен, я?

– Хорошо, – равнодушно согласился он.

– Понималь отшень лючше карашо, – похвасталась она, и Иван внутренне улыбнулся этой ее наивности. Он, правда, думал о другом.

– Где Триест, знаешь?

– О, Триесте! Горы, – живо отозвалась она.

– Знаю, что горы. А где, в какой стороне?

Она взглянула в одну сторону, в другую и уверенно махнула рукой туда, откуда поднималось над горами еще невидимое здесь солнце.

– Туда дорога Триесте.

«Дорога!» – невесело подумал Иван. Ничего себе дорога – через горный массив Альп, через теснины и реки, а главное – через густонаселенные долины и оживленные автострады. Не так уж близок этот партизанский Триест, о котором он столько слышал в лагере. Но выбор у них был небольшой, и если уж посчастливилось вырваться из ада, так глупо было бы теперь дать повесить себя под барабанный бой на черной удавке.

И потому надо идти. Идти, лезть, бежать! Не раскисать, собраться с силами, использовать весь опыт, все способности, перейти главный хребет, найти партизан – югославских, итальянских – все равно каких, только бы встать в строй, взять в руки оружие. В этом видел Иван теперь смысл жизни, наивысшее свое призвание и награду за все страдания и позор, пережитые им за год плена.

В сыром мрачном распадке было холодно. Остывшее за ночь тело донимала дрожь. Хотелось скорее к теплу, на солнце. Отыскав подходящее место на склоне, они полезли между камнями вверх. На этот раз, впервые с момента их встречи, впереди лезла она, а он, немного отстав, карабкался следом, и это было похоже на первое взаимное доверие между ними.

Каменистый склон тут был довольно крут, колодки скользили и падали с ее ног. Девушка наконец сняла их, взяла в одну руку и, хватаясь другой за колючие, твердые, как проволока, стебли какой-то травы, проворно, словно ящерица, прыгала с камня на камень.

– Руссо, – не останавливаясь, сказала она, – ты ест офицер?

– Никакой я не офицер. Пленный.

– Пленни, пленни. Я понималь. Кто до войны биль?

Иван помедлил с ответом. То, что она начала допрашивать, ему не понравилось (вот еще мне особый отдел!), и он сдержанно буркнул:

– Колхозник.

– Что ест кольхозник?

– Не понимаешь, а спрашиваешь, – грубовато упрекнул он. – Ну вроде бауэра, ферштейн?

– А, понималь: ляндивиршафт?¹⁰

¹⁰ Сельское хозяйство (нем.).

– Вот-вот. Колхоз.

– О, я отшен люблю кольхоз! – вдруг оживленно заговорила она. – Кольхоз карашо. Ля вораре ¹¹ компания. Отдых – компания. Тутто ¹² компания. Карашо компания. Руссо кольхоз карашо экономике. Правильна я понимаю? – спросила она и оглянулась.

Он не успел ответить. Сдвинутые ее ногами, вниз покатились камни, щебенка, разная мелочь – он едва успел отскочить в сторону. Она сверху озорно засмеялась и боком припала к склону. Иван со злостью прикрикнул:

– Тише ты!

Она снова спохватилась, закрыла рукой рот и оглянулась:

– Пардон.

– Пардон, пардон! Тихо надо. Чего разошлась?

Ее беззаботность злила, но, видно, прикрикнул он чересчур грубо, она метнула на него обиженный взгляд и поджала губы.

– Мой имя ест Джулия. Синьорина Джулия, – сказала она.

Он строго оглядел ее, заметив про себя: «Ну и что? Синьорина!» Для него это ровным счетом ничего не значило, особенно деликатничать с ней он не собирался. А она, кажется, обиделась, замолчала и торопливо полезла вверх. Иван немного отстал. Низко пригибаясь к земле, он широко ступал на шершавые холодные камни, исподлобья бросал короткие взгляды на ее подвижную полосатую фигуру и думал: кто она? Какая-нибудь девица легкого поведения – «гурен», как их называют немцы, бездомная бродяжка суетливых итальянских городов, беспечная ночная бабочка, опаленная огнем войны? Это казалось наиболее вероятным, судя по ее озорному и, видимо, падкому на приключения характеру. Правда, винкель у нее был красный, политический, она что-то там говорила о своей ненависти к немцам, но Иван не очень верил в то, что ее враждебность к фашистам имеет серьезные основания. Возможно, кто-либо из них обидел ее, потом, конечно, хлебнула горя в лагере, но такие вряд ли долго помнят обиды. Впрочем, он почти не знал ее, хотя уже не раз был свидетелем ее легкомыслия во многом, от чего зависела теперь судьба их побега. Но он понимал, что в таком положении надо быть особенно бдительным и больше полагаться на самого себя.

Глава седьмая

Когда они выбрались на край каменистого обрыва и остановились, чтобы перевести дыхание, их взгляду открылся огромный пологий косогор, поросший кривыми горными соснами. После сырого мрачного ущелья тут казалось необыкновенно тепло и просторно. Внизу широко раскинулась долина, за ней в бледно-сиреневой дымке тянулись вдаль соседние хребты гор.

– Раухен! ¹³ – запыхавшись, сказала она. – Немножко раухен!

Иван молча опустился на край каменной плиты, торчавшей из земли. Джулия бегло глянула вверх, в сплошное нагромождение скал, потом вниз, на лесистый склон с частыми пятнами коричневой земли между соснами. И он, глядя на нее снизу, почувствовал, как она, будто зацепившись за что-то взглядом, замерла, поджав одну ногу и даже забыв надеть на нее колодку. Он тогда вскочил. Далеко внизу между соснами поблескивала тропинка. Джулия, не оборачиваясь, схватила его за рукав:

¹¹ Трудиться (*итал.*).

¹² Все (*итал.*).

¹³ Стой! (*итал.*)

– Руссо, мэньш! Человек!

Он и сам уже видел – по тропинке вверх торопливо шел человек.

Они присели. Джулия, кажется забыв уже о своей обиде, глубокими темными зрачками испытующе заглянула в его глаза. Он же отвел в сторону насупленный взгляд и достал из-за пазухи браунинг. Девушка поняла его намерение. Иван, ничего не объясняя, тронул ее за плечо – мол, сиди тут, – а сам, пригнувшись, шмыгнул в сосняк и, раздвигая на пути нижние ветки, быстро пошел по склону, надеясь выбраться на тропинку.

Выбирая места, где сосняк был погуще, он далеко отошел от ущелья и подумал, что не следовало оставлять девушку одну.

В воздухе густо пахло смолой. Каменистая, засыпанная хвоей земля беспощадно колола его и без того исколотые ступни. Вскоре из-за ближней громады гор скользнули лучи утреннего солнца, стало заметно припекать. Вспомнив о вчерашней погоне, он щелкнул пистолетом и вытащил из пластмассовой рукоятки магазин – там оказалось пять патронов, шестой был в стволе. Это немного обнадеживало. Он подумал, что, возможно, им удастся раздобыть какую-нибудь одежду, обувь, а может, и пищу. По-прежнему невыносимо хотелось есть. При мысли о еде во рту собиралась слюна, которую он едва успевал глотать.

Между соснами в десяти шагах впереди внезапно показалась тропинка. Он остановился, глянув вниз, вверх, – нигде никого. Постояв, вслушался: с ближней, причудливо изогнутой сосенки вспорхнула маленькая купехвостая птичка, неподалеку упала на землю старая шишка, и снова стало тихо-тихо. Он поискал взглядом какое-нибудь укрытие и, пройдя немного, опустился на колючую, поросшую реденькой травкой землю за обомшелым обломком скалы.

Лежа лицом вниз, он ждал, часто поглядывая туда, где между сосновыми вершинами поблескивала тропинка, и думал, что сделать с человеком. Он не сомневался, что по тропе идет не военный, что одежду он отдаст без сопротивления (все-таки пистолет), вот только как быть дальше – убивать безоружного не позволяла совесть, оставлять же его тут было равносильно самоубийству. Но сколько он ни напрягал свой не очень подвластный ему теперь разум, ничего не мог придумать и чувствовал, что эта неопределенность к добру не приведет. Однако было бесспорно и то, что главный хребет в таком состоянии, в котором они находились сейчас, им не одолеть.

Человек показался ближе, чем Иван предполагал. На тропинке внизу вдруг появилась его согбенная под тяжелой ношей фигура, но он почему-то не шел, а почти бежал, задыхаясь от усталости, и все шарил глазами по сосняку, то и дело оглядываясь. Неужели он увидел их? Иван напрягся, сжался за камнем, стараясь скрыть свою полосатую одежду, и с неожиданной злостью выругался, ясно осознав, как мерзко и подло то, что он вынужден теперь сделать.

Но так было нужно.

Он позволил человеку подойти поближе, сам осторожно, поджав ноги, поворачивался за камнем. В рукаве шевелился, словно крапивой обжигал плечо, муравей. Австриец устало тащил на плечах тяжелый брезентовый мешок. Торопливо ступая грубыми, на толстой подошве башмаками, он уже проходил мимо, когда Иван в три прыжка выскочил на тропу. Прохожий, услышав шум сзади, оглянулся. Это был неуклюжий, пожилой толстяк в короткой кожаной тужурке, тирольской шляпе с голубой кисточкой за шнурком и поношенных, пузырящихся на коленях штанах. От неожиданности он заморгал глазами, что-то быстро-быстро заговорил по-немецки, замахал руками и двинулся на парня. Иван приподнял пистолет.

– Герр гефтлинг!.. Герр гефтлинг! – лопотал австриец. – Воцу ди пистоле! Эсэс!..¹⁴

Иван сразу весь подобрался. Он понял, но никак не хотел поверить, что снова нависает над ними беда. Проклятый муравей разгуливал уже между лопатками, но парень не шевельнулся, чтобы стряхнуть его, – суровым, беспощадным взглядом он впился в

¹⁴ Господин пленный!.. Господин пленный! Не нужно пистолета! Эсэс!.. (нем.)

австрийца.

– Эсэс! Дорт эсэс! Штрейфе¹⁵, – беспокойно говорил человек. Он был взволнован, пот ручьем лился по его немолодому, обрюзгшему лицу; в его груди, словно гармонь, удушливо скрипело и свистело на все голоса. Иван оглянулся и прикусил губы.

– Где эсэс?

– Дорт! Дорт! Ихь мэхтэ инен гутмахен¹⁶, – махал рукой австриец.

– Ду найн люгэн?¹⁷

– О найн, найн! Ихь бин гутэр мэнш!¹⁸ – горячо говорил он и, сменив тон, на ломаном русском языке произнес: – Я биль плен Сибирь.

В его встревоженных глазах мелькнуло что-то теплое, как воспоминание, и Иван понял: он не обманывал. Надо было спешить. Их вот-вот могли обнаружить тут. Исчезла последняя надежда заполучить хотя бы кусочек хлеба.

– Ду вэр? Варум хир?¹⁹ – строго спросил Иван и за рукав тужурки бесцеремонно дернул австрийца с тропинки.

– Ихь бин вальдгютер. Дорт ист майн форстей²⁰.

Иван взглянул вверх, куда показывал человек, но никакого дома не увидел, зато заметил, как из чащи выскочила Джулия. Вероятно, она слышала их разговор и закричала:

– Руссо! Руссо! Бежаль! Руссо!..

Не обращая внимания на ее предостерегающий крик, Иван еще раз дернул австрийца за плечо и вырвал у него из рук мешок:

– Эссен?²¹

– О я, я, – подтвердил тот. – Брот²².

Австриец, видимо, все понял, оглянулся, быстро опустился на колени и дрожащими пальцами расстегнул «молнию» своего мешка. Иван выхватил оттуда небольшую черствую буханочку хлеба. Австриец не протестовал, только как-то обмяк, сразу утратив недавнюю свою живость, и на мгновение в душе Ивана шевельнулся упрек. Но он тут же подавил его, отпрянув под сосну, бросил взгляд вверх, на серые снежные вершины, и оглянулся. Австриец застегивал мешок, пальцы его никак не могли справиться с «молнией», тогда Иван бросил подскочившей Джулии хлеб, а сам снова шагнул к человеку.

– Снимай!

Он забыл, как назвать по-немецки тужурку. Австриец не понял, и парень выразительно тронул его за рукав. Но австриец почему-то не спешил отдавать одежду; на старческом, красноватом от склеротических прожилок лице скользнула растерянность. Иван крикнул:

– Шнеллер! – и дернул настойчивее.

¹⁵ Эсэс! Там эсэс! Облава! (нем.)

¹⁶ Там! Там! Я желаю вам добра (нем.).

¹⁷ Ты не врешь? (нем.)

¹⁸ О нет, нет! Я честный человек! (нем.)

¹⁹ Ты кто? Почему здесь? (нем.)

²⁰ Я лесник. Там мой дом (нем.).

²¹ Кушать? (нем.)

²² О да, да. Хлеб (нем.).

– Шнеллер! Шнеллер, руссо! – приглушенно, но очень тревожно звала его из сосняка Джулия, и австриец с какой-то безнадежностью, вдруг расслабившей все его существо, снял с себя тужурку. Иван почти вырвал ее у него из рук и в последний раз взглянул в глаза этому человеку. Иван понимал: это была черная неблагодарность, но иначе поступить не мог.

Он побежал в сосняк, где мелькнула полосатая куртка Джулии, и, уже отдалившись, оглянулся: австриец стоял на прежнем месте в синих подтяжках поверх светлой сорочки и, опустив руки, смотрел им вслед. Что было в том взгляде, Иван так никогда и не узнал.

Глава восьмая

Они изо всех сил бежали вверх.

Уже через четверть часа их лица взмокли от пота, шаги стали короче – беглецы изнемогали. Сосняк кончился. Они выбрались на пологий травянистый косогор. Тут, очевидно, проходила верхняя граница леса, и дальше высились голые, обросшие мхом скалы, глыбы камней, да высоко, в самом небе, был виден серый, будто крыло куропатки, присыпанный снегом хребет. Подъем становился все круче и упирался впереди в отвесную скалистую стену, приблизившись к которой Иван понял, что взобраться наверх тут не удастся. Тогда он свернул и побежал вдоль этой гигантской преграды в поисках удобного для укрытия места. Все время его точило сомнение – от австрийца теперь можно было ждать всякого. «Только бы не собаки, только бы не собаки», – думал Иван, с безысходной ясностью сознавая, что если немцы пустят собак, им уже не уйти.

Продолжая бежать по косогору, он то и дело поглядывал вниз. Там словно на ладони раскинулся весь этот лесистый склон: широкое ущелье, где они провели ночь, сосняк, на краю которого приютился дом с высоким каменным фронтоном и длинной деревянной галереей вдоль стен – видимо, усадьба лесника. С минуты на минуту он ждал, что там появятся немцы, но те почему-то опаздывали, и возле усадьбы было глухо и пусто. Не видно было и лесника, наверно, он еще не поднялся снизу. В эти несколько напряженных минут Иван ожесточенно проклинал тех, по чьей воле он вынужден был пойти на такое дело. Разве он разбойник с большой дороги или грабитель? Зачем ему останавливать этого мирного толстяка, угрожать ему пистолетом и тем более грабить, если б не война, не плен, не бесчеловечные издевательства и унижения, не то, наконец, на что он решился ради своей жизни, ради Джулии, ради этого австрийца тоже?

Обходя огромные камни на травянистом лугу, они взбежали на взлобок и невдалеке, в скалистой стене, увидели узкую щель расселины, которая вела куда-то в глубь каменных недр. Ивана это обрадовало. Он подумал, что там, возможно, есть ручеек, который позволит запутать следы, да и самим – чувствовал он – надо было куда-то прятаться, так как каждую секунду могли появиться немцы. Иван из последних сил бежал по траве, за ним, изнемогая, но терпеливо перенося усталость, бежала Джулия.

Ободрав в колючих рододендроновых зарослях ноги, они вскоре пробрались в расселину, но ручья, к сожалению, в ней не оказалось. Это было глухое, дикое место, где царил сырой душный мрак, с крутых каменных стен свисал колючий кустарник, в щелях между камнями пробивались пряди жесткой травы. Внизу валялись старые кости; вспугнутая людьми, со свистом шарахнулась в глубь расселины какая-то ночная птица. Очень неприветливым показалось им это место, но то, что они все же успели добежать сюда и спрятаться, несколько успокоило Ивана. Он замедлил шаг, взобрался на обомшелую каменную плиту и подождал Джулию. Взмахивая для равновесия рукой, девушка по камням бежала к нему, ее короткие черные волосы спутались, лицо горело от бега и усталости, а в глазах, когда она взглянула на Ивана, вместо обычной для нее игривости блеснул страх.

– Санта Мадонна! Ми уходиль, да? – спросила Джулия.

Он нетерпеливо бросил:

– Давай быстрее!

– Что ест быстрее? – не поняла девушка.

Иван не ответил. Тяжело дыша, Джулия подбежала ближе, и они по камням двинулись дальше.

– Много карашо фатер! Комунисто фатер! – с радостью сказала она.

– Какой там коммунист! – с досадой отозвался Иван. – Человек просто.

– Си, си, человек. Бене человек²³, – согласилась девушка, пробираясь вперед. Он в это время вслушивался в звуки снизу и не мог оторвать взгляда от зажатой у нее под мышкой буханки. Джулия инстинктивно почувствовала его взгляд и обернулась:

– Эссен? Хляб, да?

Она быстро отломила от буханки краешек корки и протянула Ивану. Он не колеблясь взял, жадно откусил раза два и проглотил. Надо было торопиться. Сзади вот-вот могли появиться немцы, но он уже не мог не думать о хлебе, стал угрюм и медлителен. И Джулия, поняв, остановилась, присела, прижав буханку к груди, быстрыми пальцами отломила от нее большой кусок, который услужливо сунула Ивану в его широкие огрубевшие ладони. Крошки, осыпавшиеся на полу куртки, тщательно собрала в горсть и бросила себе в рот.

Иван, бережно взяв хлеб, повертел его в руках, будто рассматривая, исподлобья тайком взглянул на буханку и начал старательно разламывать кусок на две части. Затем, как бы взвесив на ладонях, одну половину протянул ей. Она не отказалась, усмехнулась и быстро взяла:

– Данке. Нон, грацие – спасибо!

Жадно жуя, он не ответил на ее благодарность.

Они полезли дальше. Девушка также молча начала есть, но хлеба было очень мало, крохотные кусочки его лишь раздражили их аппетит, и вскоре Джулия резко обернулась к своему спутнику:

– Руссо! Давай все-все манджаре!²⁴ Си?

Глаза ее в веселом прищуре загорелись прежней озорной живостью, пальцы впились в начатую буханку, готовые разломать ее, и Иван испугался, почувствовав, что она действительно раскрошит этот их более чем скудный запас. Он схватил ее за руку:

– Дай сюда!

Джулия удивленно повела бровями, а Иван выхватил у нее хлеб и быстро завернул в тужурку. Девушка сперва смутилась, а потом вдруг рассмеялась. Он недоумевающе посмотрел на нее:

– Ты что?

– Руссо правильно! Джулия нон верит хляб. Слово верит, любов верит. Хляб нон верит Джулия. Джусто – правильно, руссо!

Смеясь, она подошла сзади к Ивану и легонько коснулась ладонью его лопатки. Ощувив ее неожиданную ласку, он неловко повел плечами.

– Ладно, – буркнул Иван, намереваясь идти дальше, но в это время раскатисто прогремел далекий винтовочный выстрел. Они оглянулись и застыли на камне – снизу, откуда-то со стороны усадьбы, донеслись крики, сразу же затрещали «шмайсеры» – над ущельем загремело, загрохотало эхо. Иван сжался – он напряженно вслушивался, не прорвется ли оттуда знакомый ненавистный лай. Но лая не было. Пули в расселину не залетали, очереди трещали почему-то далеко в стороне, и это немного удивило Ивана. С полминуты послушав, он бросил тужурку на камни и по выступам и трещинам в скале, цепляясь за кусты, полез наверх, чтобы выглянуть из расселины.

Очереди трещали, гремели, вверху со свистом проносились пули, в грохоте пальбы уже был слышен далекий треск мотоциклов. Джулия, запрокинув голову, напряженно слушала и следила за Иваном, который добрался почти до середины крутой стены. Оглянувшись на

²³ Да, да, человек. Хороший человек (*итал.*).

²⁴ Кушать (*итал.*).

выход из расселины, он пролез еще немного и, вобрав голову в плечи, замер, увидев вдали усадьбу и мотоциклистов. Подхватив тужурку, Джулия скинула клумпесы, что-то крикнула, но он будто прилип к скале и не мог оторваться от зрелища, краешек которого приоткрылся ему с высоты.

В редком ельнике перед усадьбой метались в траве три мотоцикла, пулеметы которых торопливо били куда-то вверх. Где-то, видно пробуя прорваться выше, трещали еще несколько мотоциклов, но их не было видно из-за выступа скалы. Было ясно, что огонь и все свое внимание немцы направили в сторону от этой расселины: темп стрельбы свидетельствовал о том, что они видели цель.

Поведение немцев вызвало смутную догадку. Иван подвинулся немного в сторону, прячась за выступ в скале, взобрался выше и вдруг хорошо увидел все, что там происходило.

Снизу что-то кричала Джулия, но он не слышал ее. Вцепившись пальцами в каменный выступ, он смотрел, как по склону к скалистой стене, широко раскидывая длинные ноги, бежала фигура в полосатом. Вокруг нее вспархивали клубочки пыли – это ложились пули. Гефтлинг падал, но тотчас вскакивал и бежал, чтобы через несколько секунд снова упасть. За ним, правда в отдалении, оставив мотоциклы возле усадьбы, бежали вверх трое немцев, в то время как остальные с места, через их головы, били из пулеметов. Огонь был очень густой и дружный, и все же гефтлинг бежал. Иногда он оглядывался и, казалось, даже что-то кричал, потом падал, и Иван каждый раз думал: не встанет! Но нет! Как только ослабевал огонь, бедняга вскакивал и бежал вверх.

– Руссо! Руссо! Что смотришь? Руссо! – нетерпеливо притопывая на камне, спрашивала Джулия.

Иван молча следил за беглецом, боясь шевельнуться на скале и считая, что судьба того уже решена. И действительно, вскоре он еще раз упал почти у самой скалы, больше его не стало видно, и стрельба сразу стихла.

У Ивана будто что-то оборвалось внутри. Он быстро соскользнул по скале вниз, затаив тихую благодарность судьбе, пославшей им укрытие в этой расселине. С тяжелым чувством на душе, соскочив на землю, он коротко бросил Джулии:

– Капут.

– Капут? – широко раскрыв глаза, не поняла девушка.

– Компания твой – капут.

– Кранк гефтлинг?

– Да.

– Ой, ой!

Он взял у ошеломленной Джулии тужурку, девушка проворно подобрала колодки, и оба они начали взбираться по камням вверх.

Глава девятая

Все же они не сумели пройти незаметно, обнаружили себя, позади остался свидетель, и прежнее беспокойство с новой силой охватило Ивана: выдаст австриец или нет?

Опыт всех его побегов подсказывал, что именно такие вот обстоятельства чаще всего оказывались для беглецов роковыми. Нигде: ни в поле, ни в горах, ни на дороге – не подвергали они себя такому риску, как во время захода в деревни, усадьбы, на хутора, во время встреч с людьми. Именно там поджидала опасность очень осмотрительных и даже сверхосторожных. Там часто кончались безмерно трудные пути на волю и начинались другие, еще более мучительные – снова в плен. Но и вовсе избежать людей было невозможно – надо было питаться, узнать дорогу, переодеться. Беглецы часто надеялись на авось, на счастливый случай, на человечность. Нередко им везло, но далеко не всегда.

Го д назад Иван тоже надеялся, что все как-нибудь обойдется, как обошлось в предыдущие тридцать два дня. Втроем они довольно удачно миновали засады, переплывали реки, обходили деревни, избегали встреч с полицейскими; дважды удирали от погони – раз,

правда, потеряли четвертого, ленинградца танкиста Валерия. Остальные же добрались до родной земли, до Волыни. Кругом лежали украинские села, в поле на лошадях и волах пахали свои полоски крестьяне; становилось тепло – уже можно было ночевать в лесах и без лишней нужды не соваться в деревни. Если бы только не еда, из-за которой они то и дело должны были заходить в селения.

В то утро, оставив друзей на опушке, в село направился Иван. Накануне ходили другие, теперь была его очередь.

Он немного опоздал выйти из леса, через который извилистой дорогой они шли ночью. Уже начинало светать, но ему не хотелось забиваться куда-нибудь в глушь с пустым желудком. Внимательно всмотревшись с опушки в село, Иван ничего подозрительного там не заметил. Большой дороги поблизости, кажется, не было, и он через болотце, держась ближе к кустам, двинулся к крайней хате. Под полкой у него был немецкий автомат с двенадцатью патронами в магазине, добытый под Краковом, армейские сапоги на ногах и на плечах какая-то немудреная крестьянская свитка. Внешне он напоминал обычного сельского парубка, такого, как и все тут, без задержки дошел до огородов, потом от гумна по стежке, что вела меж плетней, свернул к ближней хате. К несчастью, хата стояла на противоположной стороне улицы, он оглянулся – вблизи никого не было, только где-то во дворе скрипнула дверь и замычала корова, – должно быть, хозяйка шла доить ее. Не успел он перебежать покропленную росой дорогу, как из соседнего двора кто-то вышел на улицу. Иван даже не взглянул на него, только почувствовал, что тот заметил его. За углом Иван оглянулся – человека на улице не было, а возле дома напротив высился огромный брезентовый кузов машины. Это было так некстати, тем более что во дворе уже встревоженно крикнули. Деваться Ивану было некуда (за хатой лежал широкий заборонованный огород), и он кинулся к раскрытым в сени дверям. В дверях стоял небритый средних лет крестьянин. Он, наверно, все понял без слов, только побледнел немного, так как, видно, услышал окрик, взглянул на Ивана, у которого заметно оттопыривалась пола, и отступил на шаг, пропуская в хату. Иван без единого слова вскочил в чистенькие, прибранные сени с разбросанным по полу аиром, метнулся туда-сюда, ища какого-нибудь укрытия, и, не найдя ничего подходящего, сквозь раскрытые двери кинулся в другую комнату, где была печь. Там он увидел черную пасть подпечья, припал на колени, быстро выглянул в окно, возле которого на топчане из-под полосатого самотканого одеяла высовывались три пары коротеньких детских ног. Парня охватило дурное предчувствие – нет, попал не туда.

Но было уже поздно: во дворе затопали сапоги, и он, обдирая бока, протиснулся в смрадную узкую дыру подпечья, сжался за выступом. В сени входили люди. Только успел затаить дыхание, как сразу донеслись чужие голоса: то были немцы, двое или больше. Хозяин не понимал их или, может, не хотел понимать. Иван все слышал, переводчик ему не был нужен.

– Вэр ист? Вэр лауфт?²⁵ – крикнул немец.

– Ин дизем аугенблик. Их хабе гезеен!²⁶ – настаивал второй.

– Паночки, нэ розумию. У мэнэ никого нэма. Што вы?

У Ивана враз спало напряжение, – значит, хозяин не выдаст, слава богу, хоть в этом повезло. Может, теперь не найдут. И он прижался к стенке плотнее, скорчившись в три погибели и почти не дыша. Немцы закричали громче, выругались, заплакал ребенок в углу, откуда-то, видно, с печи спрыгнув на пол, к нему бросилась женщина, начала успокаивать. Один из немцев, лязгнув затвором винтовки, вбежал в хату – возле печи мелькнула тень. Громче закричали дети, загрели топчаном: немцы разбрасывали их постели. Иван ждал,

²⁵ Кто такой? Кто бежал? (нем.)

²⁶ Только что. Я сам видел! (нем.)

держа руку на рукоятке автомата, хоть и не знал, как в таком положении стрелять. Немцы, громко топая сапогами, заглянули на печь, звякнули заслонкой, и сразу же луч фонарика метнулся по задней стенке подпечья. Иван даже зажмурился, ожидая крика: «Хераускрихен!»²⁷ Но лучик был слабый (видно, разрядилась батарейка), немцы ничего не увидели, и сапоги застучали дальше. Вскоре шаги притихли – видимо, немцы искали уже в сених. Тогда он, не шевелясь, выдохнул и опять медленно вдохнул воздух, не веря случившемуся – неужто пронесло? И действительно, шаги совсем стихли, только всхлипывали возле печи дети, и мать, стуча босыми ногами, кидалась, наверно, к окнам – немецкая речь слышалась уже со двора. Там что-то говорил хозяин, по-видимому направляя солдат подальше от хаты. И в самом деле, уже все успокоилось. Хозяин, должно быть, вошел в сени, к нему подбежала жена, она что-то быстро-быстро затараторила, в смятении чуть не плача, но хозяин строго прикрикнул на нее: «Хватит! Замолчи!» Женщина умолкла, вернулась в хату и занялась детьми.

Иван хотел уже было вылезти, чтобы перебраться куда-нибудь в более надежное место, как хозяйка испуганно запричитала:

– Пэтро! Пэтро! Ой лышэнько, Гриць идэ...

Иван снова притих, хозяин вышел, с минуту его не было слышно, потом во дворе раздалось язвительно-учтивое: «Добры день, герр Пэтро!» Хозяин сдержанно ответил на приветствие. Что-то щелкнуло, будто ударили кнутом по голенищу, и тот же голос буднично, словно разговор шел о пустяке, произнес:

– Кого ховаешь? А ну, давай его сюды!

– Никого я нэ ховаю, кум Гриць! Перехрыстсья, што вы!

– Ага! Никого. Што ж, проверимо! Ганна! – крикнул Гриц.

– Я тут, кум, – отозвалась с порога хозяйка.

– Кого Пэтро ховае, признавайся!

– Ой, хіба ж я ведаю! Никого ж вин нэ ховае, кум Гриць.

– Не ховае! А ну, Настуся, скажи: де татко ховае бандыта?

– Нэ видаю, – ответил боязливый детский голосок.

– Нэ видаешь! Побачымо, – многозначительным спокойным тоном прогнусавил Гриц.

У Ивана в подплечье от злости на этого выродка даже онемели скулы – так захотелось выскочить и всадить ему в брюхо десяток пуль. Но он не знал, сколько еще там подручных, и снова недоброе предчувствие завладело им: он понял, что этот – не немец, свое дело он знает отменно.

– Глух, нэси солому. Ты, Жупан, тэж. Зараз мы дознаёмсь, дэ вин ховаеця. Мы його подсмажэмо.

Во дворе затопали шаги, стукнули где-то поблизости двери – видно, люди побежали в сарайчик. Иван догадался, что задумал этот, не дожить бы ему до воскресенья, Гриц. «Неужели он решится поджечь, неужели так поступит со своим человеком, который этого негодяя еще называет кумом?» – мучительно думал Иван.

Под окнами что-то зашуршало, свет в подпечье померк. «Наверное, положили солому», – заметил про себя Иван. Потом все притихло, не стало слышно ни шагов, ни разговора. И вдруг отчаянно и дико закричала женщина, можно было подумать, будто жгут ее самое, а не хату. За ней заголосили дети, сразу же зачадил дымом. Иван понял, что все пропало, что сгорит сам и еще загубит детей. Надо было вылезать, пристрелить этого мерзавца, но у него все еще теплилась надежда – может, не подожгут, только попугают. Опять же дать загореться хате, а уж потом вылезти – не слишком ли велика кара для него и для этой семьи! Иван не знал, что делать, хоть и понимал, что надо в считанные секунды на что-то решиться.

Видно, он все же выскочил бы из подпечья (он уже был готов к этому), как вдруг с

²⁷ Вылезай! (нем.)

причитаниями и проклятиями в хату кинулась хозяйка. Прежде чем он успел догадаться зачем, она затопала возле печи и, согнувшись, сквозь слезы закричала:

– Вылазь! Вылазь! Хату палять из-за тэбэ, проклятый! Душегуб, звидкиля тэбэ принесло? Вылазь!

Иван с облегчением вздохнул: вот и кончилось все (хотя такого конца он не ждал), сунул автомат под мусор в углу и вылез. Злости на эту женщину у него не было, стало только обидно и жалко, что так глупо оборвался такой долгий и такой трудный путь...

Он ступил на порог – отрешенный от всего и спокойный. Во дворе на него по-волчьи уставились четверо мужиков, среди которых особенно выделялся один – здоровенный верзила в светлых кортовых штанах и с голубой повязкой на рукаве. Это, видно, и был Гриц. В руках он держал немецкий карабин на взводе. Иван определил это по затвору и подумал, что убить его тут они не посмеют – передадут немцам.

Так оно и случилось.

Глава десятая

Непрестанно ощущая в себе тревогу, Иван оглядывался и вслушивался, боясь, чтобы немцы не пустили собак, но время шло, а кругом было тихо. Тогда пришла уверенность, что австриец их все же не выдал, а мотоциклисты их следов не нашли и пока оставили беглецов в покое. К тому же, видимо, они забрали труп сумасшедшего – было с чем возвратиться в лагерь. От таких мыслей тревожное возбуждение постепенно улеглось, уступив место другим заботам и помыслам.

Расселина, напоминавшая глубокий кривой коридор, постепенно сужаясь, вела и вела их вверх. Почти не останавливаясь, они лезли по ее дну часа четыре, если не больше. Стало холодно, и, наверное, от высоты слегка закладывало уши. Солнце так ни разу и не заглянуло сюда; наконец исчезла за облаками и сияющая голубизна неба – сизые клочья тумана, цепляясь за острые вершины утесов, быстро неслись над расселиной. Откуда-то подул, все больше усиливаясь, порывистый ветер, похолодало так, что не согревала и ходьба. Они не могли увидеть отсюда, как далеко отошли от города, но Иван чувствовал, что взобрались высоко, иначе не пробирала бы так стужа. И все же тужурку с завернутым в нее хлебом Иван не надевал. Он понимал, что главное еще впереди, что похолодает сильнее, возможно, придется идти по снегу. Правда, о себе Иван не очень беспокоился, он мог бы идти и быстрее. Хоть и устал и болели сбитые на камнях ноги, но он был еще способен на большее – в который раз выручала его природная сила, нетребовательность к условиям жизни и, конечно, суровая армейская закалка. Не раз, бывало, в плену, когда другие выбивались из сил, ослабевали и падали от голода, усталости и бессонницы, он все выдерживал. Он начал уже думать, что и сейчас как-нибудь выдюжит, перейдет хребет (не может того быть, чтоб не перешел), лишь бы только жить, вынесет, стерпит все, на свободе – не в лагере.

Вот только Джулия...

Девушка с заметным усердием лезла за ним и теперь почти не отставала, но он, часто останавливаясь, испытующе и настороженно поглядывал на нее. Чувствуя его внимание, Джулия каждый раз старалась улыбнуться в ответ, сделать вид, что все хорошо, что она ничего не боится и у нее еще не иссякли силы. Однако несвойственная ее порывистой натуре замедленность движений красноречивее всего свидетельствовала о чрезмерной ее усталости.

И вот, выйдя из-за поворота, они увидели, что приютившая их расселина оборвалась, упершись в крутую скалу. Как ни хотелось, все же надо было вылезать наверх – на голые, открытые ветру скалы.

Иван повернул на крутой склон, вскарабкался почти до самого верха и, опустившись на одно колено, подождал Джулию. Она лезла несколько медленно, опустив голову; Иван оперся ногой о выступ, подал ей руку. Девушка вцепилась в нее своими мягкими холодными пальцами, и он потащил ее вверх.

Они выбрались на голый крутой каменистый гребень, но ничего вокруг не успели

увидеть. Сразу им в грудь ударил упругий ветер, сверху нахлынули, обволокли все вокруг рваные клочья тумана, стремительная промозглая мокрядь закрыла небо, словно холодным паром окутала их. Правда, туман не был сплошным – в редких его разрывах там и сям мелькали мрачные скалы, далекие синеватые просветы, но рассмотреть местность было нельзя. Тогда они остановились. Джулия прислонилась плечом к выступу скалы. Ветер рвал ее одежду, трепал ее волосы. Стало еще холоднее. Иван развернул на земле потертую, из желтой кожи тужурку, вынул из нее хлеб и шагнул к Джулии.

– О нон... Нет! Я тепло, – сверкнула она на него оживившимися вдруг глазами и вскинула навстречу руку. Иван молча накинул ей на плечи куртку. Девушка, закутавшись в нее, съежилась, вобрала в воротник голову. Он присел рядом.

– Иль панэ – хляб! – поняв его намерение, сказала она и проглотила слюну. Он сперва осмотрел буханку, прикинул на руке, будто определяя вес и ту самую минимальную норму, которую они могли позволить себе в этот раз съесть, и вздохнул: уж очень мизерной оказалась она. Джулия опустилась на землю и подвинулась к нему. Боясь раскрошить буханку, Иван не стал отламывать от нее, а поднял острый обломок камня и, примерившись, начал осторожно отрезать кусочек. Девушка с каким-то радостным умилением в глазах покорно следила за движениями его пальцев, глядя, как он режет и как делит отрезанное пополам, отламывая от одной половины и прибавляя к другой.

– Хорошо?

– Си, си. Карашо.

Снова будто не стало ни стужи, ни усталости. Джулия засияла глазами, с нетерпением ожидая, когда будет разрешено съесть эту пайку. Но Иван с завидной выдержкой еще раз подровнял куски и лишь тогда сказал девушке:

– А ну, отвернись.

Она поняла, не вынимая из-под тужурки рук, быстро повернулась, и он прикоснулся пальцем к кусочку с добавкой:

– Кому?

– Руссо! – с готовностью сказала она и обернулась.

Иван бережно взял маленький кусочек, чуть быстрее схватила второй она.

– Гра... Спасибо, руссо.

– Не за что! – сказал Иван.

– Руссо! – торопливо жуя и кутаясь в тужурку, позвала Джулия. – Как имеется твое имя? Иван, да?

– Иван, – слегка удивившись, подтвердил он.

Она заметила его удивление и, откинув голову, засмеялась:

– Иван! Джулия угодаль! Как ето угодаль?

– Нетрудно угадать.

– Все, все руссо – Иван? Правда?

– Не все. Но есть. Много.

Она оборвала смех, устало вздохнула, крепче запахнула тужурку и украдкой взглянула на остаток буханки. Иван, медленно доедая свой кусок, заметил этот ее красноречивый взгляд и взял буханку, чтобы сунуть ее за пазуху. Но не успел он расстегнуть куртку, как Джулия вдруг ойкнула и в изумлении застыла на месте. Почуввав неладное, он глянул на девушку и увидел на ее лице испуг – широко раскрытыми глазами она уставилась на что-то поверх его головы. Так, с хлебом в руке, Иван обернулся и сразу увидел то, что испугало Джулию.

Поодаль в прогалине, опершись на расставленные руки, сидел на скале страшный гефтлинг. Лысый череп его на тонкой шее торчал из широкого воротника полосатой куртки, на которой чернел номер, а темные глазницы-провалы, будто загипнотизированные, неотрывно глядели на них. Увидев в руках Ивана хлеб, он встрепенулся и, подпрыгивая на месте, начал хрипло выкрикивать:

– Брот! Брот! Брот!

Потом вдруг оборвал крик, поежился и уже совсем человеческим, полным отчаяния голосом потребовал:

– Гиб брот!

– Ге, чего захотел! – саркастически усмехнулся Иван, глядя на него. Сумасшедший несколько секунд выждал и с неожиданной злобой начал кричать:

– Гиб брот! Гиб брот! Ихь бешайне гестапо! Гиб брот!²⁸

– Ах, гестапо! – Иван поднялся на ноги. – А ну марш отсюда! Ну, живо!

Он угрожающе двинулся к безумцу, но не успел сделать и нескольких шагов, как тот соскочил со скалы и с удивительной ловкостью отбежал вниз.

– Гиб брот – никс гестапо! Никс брот – гестапо!²⁹

– Ах ты собака! – угрожающе закричал Иван. Его охватил гнев, появилось желание догнать гефтлинка, но тот из предосторожности отбежал еще дальше. Заметив, что Иван остановился, он тоже стал.

– Гиб брот!..

Иван сунул руку за пазуху. Немец застыл, ожидая. Иван выхватил пистолет и щелкнул курком.

– Пистолет! – в испуге крикнул сумасшедший и бросился назад.

Иван прикусил губу; сзади к нему подскочила Джулия.

– Дать он хляб! Дать хляб! – испуганно заговорила она.

Сумасшедший между тем отбежал, приостановился и, оглядываясь, быстро зашагал вниз.

– Иван дать хляб! Дать хляб! Нон гестапо! – тревожно требовала девушка.

«Продажная шкура, – думал Иван, злобно глядя на покачивающуюся фигуру немца. – Конечно, с ним шутки плохи – наделает крику и выдаст эсэсманам: что возьмешь с дурака! И убить жалко, и отвязаться невозможно. Придут с собаками, нападут на след – считай, все пропало».

– Эй! – крикнул Иван. – На брот!

Сумасшедший, ухватившись за скалу, остановился, оглянулся, и вскоре сквозь ветер донесся его голос:

– Никт... Ду шиссен! Ихь бешайне гестапо!

И снова подался вниз.

– Пошел к черту! Никс шиссен! На вот... на!

Иван действительно отломил от буханки кусок и поднял его в руке, чтобы сумасшедший увидел. Джулия, стоя рядом, дрожала от стужи и с беспокойством поглядывала на гефтлинка. А тот помедлил немного и опустился на выступ скалы. К ним он подходить боялся.

– Ах ты собака! – снова закричал Иван, теряя терпение. – Ну и черт с тобой! Иди в гестапо. Иди!

– Иван, нон гестапо! Нон, Иван! – затормошила его за руку Джулия. – Дать немножко хляб! Нон гестапо!..

– Черта с два ему хлеб! Пускай идет!

– Он плохо гефтлинг. Он кранк. Он гестапо...

Иван не ответил, положил за пазуху половину буханки, пистолет и пошел на прежнее место, вверх. Джулия молча шла рядом. Он чувствовал, что так обращаться с этим сумасшедшим было опасно, но теперь уже не мог уступить – злобная вспышка оказалась сильнее благоразумия. Джулия изредка оглядывалась, но на них налетела мгла, кроме серого нагромождения скал, кругом ничего не стало видно – внизу и по сторонам стремительно

²⁸ Дай хлеба! Дай хлеба! Я донесу в гестапо. Дай хлеба! (нем.)

²⁹ Дай хлеба – не буду гестапо! Не дашь – гестапо! (нем.)

несся, клубился, рвался промозглый туман. Неизвестно было, остался ли гефтлинг на месте или, может, действительно повернул обратно. Заметив на лице девушки тревогу, Иван бросил:

– Никуда он не пойдет. Врет все.

Он успокаивал ее, но сам уверенности в этом не испытывал. Черт знает от каких только мерзавцев зависит жизнь человека! Вот ведь больной, а выжил, прорвался в горы, ускользнул от облавы, убежал из-под пуль. Разве удалось бы это кому-нибудь стоящему? А этот жив и еще замахивается на жизнь других. Просто хотелось заскрежетать зубами от бессильной ярости, вспомнив, сколько самых лучших ребят разных национальностей полегло в лагерях. Но к чему скрежет, надо перетерпеть, перенести все, иначе – смерть!

Они уже двинулись было в обход огромного слоистого выступа, когда Иван оглянулся и сунул руку за пазуху. Джулия также посмотрела назад, но сумасшедшего нигде не было видно. И все же Иван достал кусок хлеба, вернулся и, поискав удобное место, положил его на камень, у которого они недавно сидели.

– Ладно! Пусть подавится! – будто оправдываясь, проговорил он.

Джулия согласно кивнула. Видно, она слишком хорошо знала, что такое предательство.

Глава одиннадцатая

Ветер гнал и гнал бесконечные космы тумана. Куртка на Иване отсырела, дрожь то и дело сотрясала тело. Он часто оглядывался, начиная сомневаться, найдет ли сумасшедший оставленный хлеб. Появилось даже желание вернуться, забрать этот кусок и съесть самому. Чтобы как-то отделаться от навязчивых мыслей, он быстро зашагал дальше.

Вскоре они обошли гигантский выступ, который окаменевшим птичьим хвостом торчал в небе, взобрались выше. Вдруг туманное облако перед ними разорвалось, и беглецы увидели впереди голый каменистый склон и взбегавшую на него тропку. Некруто петляя по камням, она куда-то вела наискось по склону. Тропинка была не очень заметной в этом нагромождении скал, но все же они сразу увидели ее и обрадовались.

Иван первым ступил на нее, оглянулся назад – там, среди прядей тумана, по-прежнему мелькали мрачные скалы, пропасти, кое-где проплывали сизые облака. Вверху, в высоком затуманенном небе, горел освещенный солнцем пятнистый, густо заснеженный хребет. Правда, внимательнее присмотревшись, Иван обнаружил, что хребтов там два: дальний – могучий и широкий, похожий на огромную неподвижную медвежью спину, и ближний – зубчатый, чуть присыпанный снегом, который казался выше всех гор и почти в самое небо упирался крайней своей вершиной. Эта вершина выглядела отсюда самой большой, но Иван уже постиг обманчивый закон гор, когда самая ближняя из вершин кажется и самой высокой. Видно, все же главным тут был тот дальний – Медвежий – хребет, и думалось, что за ним находится желанная цель их побега – партизанский Триест.

Здрав голову, Иван с минуту всматривался вверх, в этот порог на их пути в будущее, страстно надеясь, что погони больше не будет, что самое страшное они преодолели, что люди не встретятся на их пути – теперь им противостояла только природа, для борьбы с которой нужны были лишь сила и выносливость. Затем взглянул на притихшую спутницу, которая, будто зачарованная суровым величием гор, также вглядывалась в снежные хребты. И тогда, пожалуй, впервые у него появилась тихая радость оттого, что перед грозной неизвестностью природы он не одинок, что рядом есть человек. Почувствовав душевное удовлетворение, он с легким сердцем произнес любимое с детства слово:

– Айда!

Вряд ли она знала это слово, но теперь настолько созвучны были их чувства, что она поняла его и подхватила:

– Айда!

И они пошли по тропке, что опоясывала голый скалистый косогор. Вверху, в разрывах тумана, неудержимо ярко блеснуло низкое солнце; под его лучами клочья облаков

преобразились и ослепительной белизной засияли на склонах гор; по скалам и безднам быстро помчались черные лоскутья теней и, чередуясь с ними, яркие пятна света. Ветер, не утихая, рвал Иванову куртку, надувал штаны. Джулия подняла кожаный воротник тужурки. Они взобрались выше. Освещенные солнцем, отчетливо стали видны черная щель расселины, каменные косогоры, на одном из которых, отбросив длинную тень, стала видна торчащая ребристая скала.

Иван взглянул вниз и остановился: на том месте, где они сидели недавно, топтался безумный гефтинг.

– Гляди ты – привязался.

– Трачико человек, – сказала Джулия. – Пикатто – жалко!

– Чего жалеть? Сволочь он.

– Он хочет руссо идет. Нон руссо бёзе. Он бояться.

– И правильно делает, – коротко заметил Иван.

Он двинулся дальше, мысленно отмахнувшись от сумасшедшего, хотя иметь сзади такой хвост было не очень приятно. Но что поделаешь с больным – и отогнать не отгонишь, и убежать некуда. Придется, видно, потерпеть так до ночи.

– Иван, – сказала девушка, делая ударение на «и». – Ты не имель зло Джулия?

– А чего мне злиться?

– Ты нон бёзе?

– Можешь не бояться.

– Нон бояться, да? – улыбнулась она.

– Да.

Однако улыбка скоро сбежала с ее усталого лица, которое стало сосредоточенным, видимо отразив невеселый ход ее мыслей.

– Джулия руссо нон бояться. Джулия снег бояться.

Иван, идя впереди, вздохнул: в самом деле, снег и такой скудный запас хлеба все больше начинали беспокоить его. Он подумал уже, что надо было у лесника прихватить еще что-нибудь и обязательно обувь – ведь с голыми ногами было более чем глупо лезть в такой снег. Хотя, как всегда, хорошие мысли появлялись слишком поздно. Вначале они, конечно, не думали, что доберутся до снежных вершин, тогда счастьем казалось ускользнуть от облавы. И так спасибо австрийцу – если бы не он, хлеба у них не было бы. Иван быстро шел по тропке, сбоку по косогору волочились, мелькали две длинные, до самого низа, тени. Утешать, уговаривать спутницу он не хотел, только сказал:

– Куртка у тебя есть. Чего бояться? Манто не жди.

Девушка вздохнула и, помолчав, вспомнила с грустью:

– Рома Джулия много манто имел. Фир манто – черно, бело...

Он насторожился и замедлил шаг:

– Что, четыре манто?

– Я. Фир манто. Четыре, – уточнила она по-русски.

– Ты что, богатая?

Она засмеялась:

– О, нон богата. Бедна, Политише гефтинг.

– Ну не ты – отец. Отец твой кто?

– Отэц?

– Ну да, фатер. Кто он?

– А, иль падре! – поняла она. – Иль падре – коммерсанте. Директоре фирма.

Он тихо присвистнул – ну и ну! «Не хватало еще, чтобы этот фатер оказался фашистом, вот была бы прогулочка по Альпам!» – подумал он и резко обернулся:

– Фатер фашист?

– Си, фашисто, – просто ответила Джулия, живо взглянув в его посуровевшие глаза. – Командир милито.

Еще лучше! Черт знает что делается на свете! Как говорил Жук – бросишь палку в

собаку, попадешь в фашиста.

Он сошел на крап тропинки, дал девушке поравняться с собой и впервые с пробудившимся интересом оглядел ее стройную, складную, хотя и неказисто одетую фигурку. Но, странное дело, эта полосатая, с чужого плеча одежда всей своей нелепостью не могла обезобразить ее врожденного девичьего обаяния, которое проглядывало во всем: и в гибкости и точности движений, и в ласковой приятности лица, и в манере улыбаться – заразительно и радостно. Она покорно и преданно посматривала на него, руки держала сцепленными в рукавах тужурки и привычно постукивала по тропке своими неуклюжими клумпесами.

– А ты что ж... Тоже, может, фашистка? – с внутренней настороженностью спросил Иван.

Девушка, наверно, почувствовала плохо скрытое подозрение и кольнула его глазами.

– Джулия фашиста? Джулия – коммуниста! – объявила она с упреком и с чувством достоинства.

– Ты?

– Я!

– Врешь! – после паузы недоверчиво сказал он. – Какая ты коммунистка!

– Коммуниста. Си. Джулия коммуниста.

– Что, вступила? И билет был?

– О нон. Нон тэсарэ. Формально нон. Моральмэндэ коммуниста.

– А, морально!.. Морально не считается.

– Почему?

Он промолчал. Что можно было ответить на этот наивный вопрос? Если бы каждого, кто назовет себя коммунистом, так и считать им, сколько б набралось таких! Да еще буржуйка, кто ее примет в партию? Болтает просто. Несколько приглушив свой интерес, Иван пошел быстрее.

– У нас тогда считается, когда билет дадут.

– А, Русланд? Русланд иначе. Я понимают. Русланд Советика.

– Ну конечно. У нас не то что у вас, буржуев.

– Советика очэн карашо. Эмансипацио. Либерта. Братство. Да?

– Ну.

– Это очэн, очэн карашо, – проникновенно говорила она. – Джулия очэн, очэн уважалъ Русланд. Нон фашизм. Нон гестапо. Очэн карашо. Иван счастлив свой страна, да? – Она по тропке подбежала к нему и обеими руками обхватила его руку выше локтя. – Иван, как до война жиль? Какой твой дэрэвня? Слюшай, тебя синьорина, девушка, любиль? – вдруг спросила она, испытующе заглядывая ему в глаза. Иван безразлично отвел глаза, но руки не отнял – от ее ласковой близости у него вдруг непривычно защемило внутри.

– Какая там девушка? Не до девчат было.

– Почему?

– Так. Жизнь не позволяла.

– Что, плехо жиль? Почему?

Он вовремя спохватился, что сказал не то. О своей жизни он не хотел говорить, тем более что у нее было, видимо, свое представление о его стране.

– Так. Всякое бывало.

– Ой, неправдо, неправдо, – она хитро скосила на него быстрые глаза. – Любиль много синьорино.

– Куда там!

– Какой твой провинция? Какой место ты жиль? Москва? Киев?

– Беларусь.

– Беларусь? Это провинция такой?

– Республика.

– Республика? Это карашо. Италия монархия. Монтэ – горы ест твой република?

– Нет. У нас больше леса. Пущи. Реки, озера. Озера самые красивые, – невольно отдаваясь воспоминаниям, заговорил он. – Моя деревня Терешки как раз возле двух озер. Когда в тихий вечер взглянешь – не шелохнутся. Словно зеркало. И лес висит вниз вершинами. Ну как нарисованный. Только рыба плещется. Щука – во! Что эти горы!..

Он выпалил сразу слишком много, сам почувствовал это и умолк. Но растревоженные воспоминанием мысли упрямо цеплялись за далекий край, и теперь в этом диком нагромождении скал ему стало так невыносимо тоскливо, как давно уже не было в плену. Она, видно, почувствовала это и, когда он умолк, попросила:

– Говори еще. Говори твой Беларусь.

Солнце к тому времени опять скрылось за серыми облаками. На гладкий косогор надвинулась стремительная тень, дымчатые влажные клочья быстро понеслись поперек склона.

Сначала не очень охотно, часто прерываясь, будто заново переживая давние впечатления, он как о чем-то далеком, дорогом и необыкновенном начал рассказывать ей об усыпанных желудями дубравах, о бобровых хатках на озерах, о прохладном березовом соке и целых рощах ароматной черемухи в мае. Давно он не был таким говорливым, давно так не раскрывалась его душа, как сейчас, – он просто не узнавал себя. Да и она с ее неподдельным интересом ко всему родному для него сразу стала ближе, будто они были давно знакомы и только сейчас встретились после долгой нелегкой разлуки.

Наконец он замолчал. Она медленно высвободила его руку и свободнее взяла за шершавые пальцы. Спокойно спросила:

– Иван, твой мама карашо?

– Мама? Хорошая.

– А иль падре – отэц?

Она мечтательно поглядывала на склон и не заметила, как дрогнуло его мгновенно помрачневшее лицо.

– Не помню.

– Почему? – удивилась она и даже приостановилась. Он не захотел останавливаться, сцепленные их руки вытянулись.

– Умер отец. Я еще малый был.

– Марто? Умиор? Почему умиор?

– Так. Жизнь сломала.

Она деликатно выпустила его руку, зашла сбоку, ожидая, что он скажет что-то важное, разъяснит то, что она не поняла, но он уже не хотел ни о чем говорить. Через несколько шагов она спросила:

– Иван, обида? Да?

– Какая обида?..

– Ты счастливо, Иван! – не дождавшись его ответа и, видно, поняв это по-своему, серьезно заговорила Джулия. – Твой большой фатерлянд! Такой колоссаль война побеждат. Это большой, большой счастье. Обида – есть маленько обида. Не надо, Иван...

Он не ответил, только вздохнул, уклоняясь от этого разговора. Действительно, зачем ей знать о том трудном и сложном, что было в его жизни?

Глава двенадцатая

Так думал он, карабкаясь по крутой тропе вверх, уверенный, что поступает правильно. В самом деле, кто она, эта красotka, нелепой случайностью войны заброшенная в фашистский концлагерь? Кто она, чтобы выкладывать ей то трудное, что в свое время отняло столько душевных сил у него? Примет ли ее, пусть и чуткая, честная душа суровую правду его страны, в которой дай бог разобраться самому? Разве что посочувствует. Но сочувствие ему ни к чему, за двадцать пять лет жизни он привык обходиться без него. Поэтому пусть лучше все будет для нее хорошим, именно таким, каким она это себе представляет. И он

сломал.

Отдавшись раздумью, Иван тем не менее шел быстро и не замечал времени. Джулия, поняв, что задела слишком чувствительную струну в его душе, тоже умолкла, немного приотстала, и они долго молча взбирались по склону. Между тем на величественные громады гор спустился тревожный ветренный вечер. Горы начали быстро темнеть, сузились и без того сжатые тучами дали: исчез серебристый блеск хребта – туманное марево без остатка поглотило его. На фоне чуть светлого неба чернели гигантские близнецы ближней вершины, а за ней – другая, пониже. В седловине, вероятно, был перевал, туда и вела тропа.

Обычно вечер угнетающе действовал на Ивана. Ни днем, ни ночью, ни утром не было так тоскливо, так бесприютно, тревожно и тягостно, как при наступлении сумерек. Со всей остротой он почувствовал это в годы войны, да еще в плену, на чужой земле – в неволе, в голоде и стуже. Вечерами особенно остро донимало одиночество, чувство незащитности, зависимости от злой и неумолимой вражеской силы. И нестерпимо хотелось мира, покоя, родной и доброй души рядом.

– Иван!.. – неожиданно позвала сзади Джулия. – Иван!

Как всегда, она сделала ударение на «и», это было непривычно, вначале даже пугало, будто поблизости появился еще кто-то кроме них двоих. Иван вздрогнул и остановился.

Ничего больше не говоря, Джулия молча плелась между камнями, и он без слов понял, в чем дело. Сразу видно было, как она устала, да и сам он чувствовал, что необходимо отдохнуть. Но в этой заоблачной выси стало нестерпимо холодно, бушевал, рвал одежду, гудел в расщелинах ошалелый ветер. Зябли руки, а ноги совсем окоченели от стужи. Холод все крепчал, усиливался к ночи и ветер. Всей своей жестокой слепой силой природа обрушивалась на беглецов. Иван спешил, хорошо понимая, что ночевать тут нельзя, что спасение только в движении, и если они в эту ночь не одолеют перевала, то завтра уже будет поздно.

– Иван, – сказала, подойдя, Джулия, – очэн, очэн уставаль.

Он переступил с ноги на ногу – ступни болели, саднили, но теперь он старался не замечать этого и озабоченно посмотрел на Джулию.

– Давай как-нибудь... Видишь, хмурится.

Из-за ближних вершин переваливалась, оседая на склонах, густая темная туча. Небо постепенно гасило свой блеск, тускло померцало и исчезла в черной мгле крошечная одинокая звезда; все вокруг: скальные громады, косогоры, ущелья и долины – заволокла серая наволочь облаков.

– Почему нон переваль? Где ест переваль?

– Скоро будет. Скоро, – обнадеживал девушку Иван, сам не зная, как долго еще добираться до седловины.

Они снова двинулись по едва приметной в каменистом грунте тропинке. Иван боялся теперь потерять спутницу и, прислушиваясь к привычному стуку ее колодок, шел несколько медленнее. На крутых местах он останавливался, ждал девушку, подавал ей руку и втаскивал вверх, сам при этом еле удерживая в груди сердце. А ветер бешено трепал одежду, тугими толчками бил то в спину, то в грудь, затрудняя дыхание, свистел в камнях, часто меняя направление – даже не понять было, откуда он дует.

Вскоре совсем стемнело, громады скал слились в одну непроглядную массу, черное, беспросветное небо сомкнулось с горами. Стало так темно, что Иван то и дело оступался, натыкался на камни, несколько раз больно ушиб ногу, и тогда впервые им овладело беспокойство – где тропа? Он согнулся, внимательно взгляделся, попробовал нащупать тропу ногами, но кругом были одни камни, и он понял, что они заблудились.

Выпрямившись, он отвернулся от ветра и стал ждать, пока подойдет девушка. Когда та доковыляла до него, Иван бросил: «Постой тут!» – а сам пошел в сторону. Джулия восприняла это молча, почти равнодушно, сразу опустилась на камень и скорчилась от холода. Он же, сдерживая в душе тревогу, отошел еще дальше, всматриваясь под ноги и время от времени ощупывая землю ногами, – тропы не было. Постепенно в воздухе что-то

замерцало, он протянул руку и понял: это пошел снег. Мелкая редкая крупа косо неслась из ветреной черной мглы, понемногу собираясь в ямках и щелях. Иван стоял, вглядываясь в темноту, и напряженно думал, что делать дальше. Снег сгустился, внизу постепенно светлело, и вдруг он увидел неподалеку извилину потерянной тропы.

– Эй, Джулия! – тихо позвал он.

Девушка почему-то не откликнулась. Он, продрогнув, с растущей досадой в душе ждал. «Что она там, заснула? Вот еще дал бог попутчицу! По бульварам с такой прогуливаться», – сердился он. А ветер по-прежнему люто бился о скалы, снежная крупа густо сыпала с неба, шуршала по камням; вконец зашлись от холода ноги. Руки он спрятал в рукава; за пазухой жег тело настывший пистолет.

– Эй, Джулия!

Она не ответила, и он, выругавшись про себя, с неохотой, ступая на мокрые холодные камни, пошел туда, где оставил ее.

Джулия сидела на камне, скорчившись в три погибели, прикрыв колени тужуркой. Она не отозвалась, не поднялась при его приближении, и он, предчувствуя недоброе, остановился перед ней.

– Финита, Иван!³⁰ – тихо проговорила она, не поднимая головы.

Он промолчал.

– Как это финита? А ну вставай!

– Нон вставай. Нет вставай.

– Ты что, шутишь?

Молчание.

– А ну поднимайся! Еще немного – и перевал. А вниз ноги сами побегут.

Молчание.

– Ну, ты слышишь?

– Финита. Нон Джулия марш. Нон.

– Понимаешь, нельзя тут оставаться. Закоченеет. Видишь, снег.

Однако слова его на девушку не производили никакого впечатления. Иван видел, что она изнемогла, и начал понимать бесполезность своих доводов. Но как заставить ее идти? Подумав немного, он достал из-за пазухи помятую краюшку хлеба и, отвернувшись от ветра, бережно отломил кусочек мякиша.

– На вот хлеба.

– Хляб?

Джулия встрепелась, сразу подняла голову. Он сунул ей в руки кусочек, и она быстро съела его.

– Еще хляб!

– Нет, больше не дам.

– Мале, мале хляб. Дай хляб! – как дитя, жалобно попросила она.

– На перевале получишь.

Она сразу замкнулась и съежилась.

– Нон перевал!

– Какой черт «нон»?! – вдруг закричал Иван, стоя напротив. – А ну вставай! Ты что надумала? Замерзнуть? Кому ты этим зло сделаешь? Немцам? Или ты захотела им помочь: в лагерь вернуться? Ага, они там тебя давно ждут! – кричал он, захлебываясь от ветра.

Она, не меняя положения, вскинула голову:

– Нон лагерь!

– Не пойдешь в лагерь? Куда же ты тогда денешься?

Она замолчала и снова поникла, сжалась в маленький живой комочек.

– Замерзнешь же! Чудачка! Загнешься к утру, – смягчившись, сказал он.

³⁰ Все, Иван! (итал.)

Ветер сыпал снежной крупой, крутил вверху и между камнями. Хотя снег был мелкий, все вокруг постепенно светлело, стала заметна тропа, и проглядывались изломы камней. Без движения, однако, тело быстро остывало и содрогалось от стужи, переносить которую становилось уже неважно.

– А ну вставай! – Иван рванул ее за тужурку и по-армейски сурово командовал: – Встать!

Джулия, помедлив, поднялась и тихо поплелась за ним, хватаясь за камни, чтобы не упасть. Иван, насупившись, медленно шел к тропе. Он уже начал думать, что все как-нибудь обойдется, что самое худшее в таком состоянии сбиться с ритма, хотя бы присесть, и тогда потребуется значительно больше усилий, чтобы встать. Вдруг уже возле самой тропы сильный порыв ветра стегнул по лицам снежной крупой и так ударил в грудь, что они задохнулись. Джулия упала.

Иван попытался помочь ей подняться, взял девушку за руку, но она не вставала, закашлялась и долго не могла отдышаться. Наконец, сев на камень, тихо, но твердо, как об окончательно решенном, сказала:

– Джулия финита. Аллес! Иван Триесте. Джулия нон Триесте.

– И не подумаю.

Иван отошел в сторону и тоже сел на выступ скалы.

– А еще говорила, что коммунистка, – упрекнул он. – Паникер ты!

– Джулия нон паникор! – загорячилась девушка. – Джулия партиджано.

Иван уловил нотки обиды в ее голосе и ухватился за них. «Может быть, это растревожит ее», – подумал он.

– Трусиха, кто ж ты еще?

– Нон трусиха, нон паникор. Силы мале.

– А ты через силу, – уже мягче сказал он. – Знаешь, как однажды на фронте было? На Остфронте, куда ты собиралась. Окружили нас немцы в хате. Не выйти. Бьют из автоматов в окна. Кричат: «Рус, сдавайся!» Ну комвзвод наш Петренко тоже говорит: «Аллес капут». Взял пистолет и бах себе в лоб. Ну и мы тоже хотели. Вдруг ротный Белошеев говорит: «Стой, хлопцы! Застрелиться и дурак сумеет. Не для того нам Родина оружие дала. А ну, – говорит, – на прорыв!» Выскочили мы все в дверь, да как ударили из автоматов и кто куда – под забор, в огороды, за угол. И что думаешь: вырвались. Пятеро, правда, погибли. Белошеев тоже. И все же четверо спаслись. А послушались бы Петренко, только бы на руку немцам сыграли: никого и стрелять не надо, бери и закапывай.

Джулия молчала.

– Так что, пошли?

– Нон.

– Ну какого черта? – весь дрожа от холода, начал терять терпение Иван. – Замерзнешь же, глупая. Стоило убежать, столько лезть под самое небо?

Она продолжала молчать.

– На кой черт тогда они себя подорвали! – сказал он, вспомнив погибших товарищей. – Надо, чтоб хоть кто-нибудь уцелел. А ты уже и скисла.

Он вскочил, чувствуя, что насквозь промерз на ветру, зашагал по тропе – на сером снегу отпечатались темные следы его босых ног. Хорошо еще, что не было мороза, иначе им тут верная смерть. Минуту спустя он решительно остановился напротив Джулии.

– Так не пойдешь?

– Нон, Иван.

– Ну как хочешь. Пропадай, – сказал он и тут же потребовал: – Снимай тужурку.

Она слабо зашевелилась, сняла с себя тужурку, положила ее на камень. Потом сбросила с ног колодки и поставила их перед ним. Иван застывшей ногой отодвинул колодки в сторону:

– Оставь себе... В лагерь бежать.

А сам напялил на широкие плечи тужурку, запахнулся, сразу стало теплей. Он

чувствовал, что между ними что-то навсегда рушится, что нельзя так относиться к женщине, но у него теперь прорвалась злость к ней, казалось, будто она в чем-то обманула его, и потому невольно хотелось наказать ее. Мысленно выругавшись, он, однако, почувствовал, как нелегко уйти, расставание оказалось до нелепости грубым, хотя он старался заглушить все это злостью. И все же он не мог не понимать, что Джулии было очень трудно и что она по-своему была права, так же как в чем-то был несправедлив он, – Иван чувствовал это, и его злость невольно утихала.

Он сделал шага два по тропинке и повернулся к ней.

– Чао! – сжавшись на камне, тихо и, похоже, совсем безразлично сказала она. Это слово сразу напомнило ему их вчерашнюю встречу, и тот радостный блеск в ее сверкающих глазах, удививший его в лесу, и ее безрассудную смелость под носом у немцев, и Ивану стало не по себе. Это не было ни жалостью, ни сочувствием – что-то незнакомое защемило в груди, хотя вряд ли он мог в чем-нибудь упрекнуть себя и, пожалуй, ничем не был обязан ей. «Нет, нет! – сказал он себе, заглушая эту раздвоенность. – Так лучше!» Одному легче уйти, это он знал с самого начала. Ему вообще не надо было связываться с ней, теперь у него на плечах тужурка, немного хлеба – на одного этого хватит дольше, он будет экономить – съедать по сто граммов в день. Один он все стерпит, перейдет хребет, если бы даже пришлось ползти по поясу в снегу. Он доберется в Триест, к партизанам. Зачем связываться с этой девчонкой? Кто она ему?

Он торопливо взбежал на крутизну, будто спеша отрешиться от мыслей о ней, брошенной там, внизу, но совладать со смятением своих чувств так и не смог. Что-то подспудное в нем жило иной логикой, ноги сами замедлили шаг, он оглянулся раз, другой... Джулия едва заметным пятном темнела на склоне. И ее покорная беспомощность перед явной гибелью вдруг сломала недавнее его намерение. Иван, сам того не желая, обернулся и, не преодолев чего-то в себе, побежал вниз. Джулия, услышав его, вздрогнула и испуганно вскинула голову:

– Иван?

– Я.

Видимо догадываясь о чем-то, она насторожилась:

– Почему?..

– Давай клумпес!

Она покорно вынула из колодок ноги, и он быстро насунул на свои застывшие ступни эту немудреную обувь, в которой еще таилось ее тепло. Затем скинул с себя тужурку:

– На. Надевай.

Все еще не вставая с места, она быстро запахнулась в тужурку, он, помогая, придерживал рукава и, когда она оделась, взял девушку за локоть:

– Иди сюда.

Она упрямо отшатнулась, вырвала локоть и застыла, уклонившись от его рук. Из-под бровей испытующе взглянула ему в лицо.

– Иди сюда.

– Нон.

– Вот мне еще «нон»...

Одним рывком он схватил ее, вскинул на плечо, она рванулась, как птица, затрепетала, забила в его руках, что-то заговорила, а он, не обращая на это внимания, передвинул ее за спину и руками ухватил под колени. Она вдруг перестала биться, притихла, чтоб не упасть, торопливо обвила его шею руками, и он ощутил на щеке ее теплое дыхание и горячую каплю, которая, зашекотав, покатилась ему за воротник.

– Ну ладно. Ладно... Как-нибудь...

Неожиданно обмякнув, она прильнула к его широкой спине и задохнулась. Он и сам задохнулся, но не от ветра – от того незнакомого, повелительно-кроткого, величавого и удивительно беспомощного, что захлестнуло его, хлынув из неизведанных глубин души. Недавнее намерение бросить ее теперь испугало Ивана, и он, тяжело погромыхая

колодками, полез к перевалу.

Глава тринадцатая

Снежная крупа уже густо обсыпала шершавые камни. Деревяшки скользили по ним на очень крутых местах, и, чтобы не упасть с ношей, Иван старался идти боком, как лыжник при подъеме на склон. Сначала он не чувствовал тяжести ее маленького тела – слегка поддерживая ее за ноги и согнувшись, упорно лез вверх. Но скоро порыв его все же ослабел, появилось желание остановиться, выпрямиться, вздохнуть – в груди не хватало воздуха. Правда, он согрелся, разгоряченному телу нипочем стал горный ветер, внутри тоже горело, от удушья раздирало легкие.

Перевал, пожалуй, был близко – подъем постепенно выравнивался, тропинка уже не петляла по заснеженному скалистому взлобью. Справа возвышалось что-то серое очевидно громада другой горы. Значит, они уже добрались до седловины. Ветер по-прежнему безумствовал в своей неумной ярости, вокруг, будто в невидимой гигантской трубе, выло, стонало, даже звенело – впрочем, звенело, возможно, в ушах. Мороз, очевидно, крепчал. От стужи больше всего доставалось рукам и коленям. Хорошо еще, что не было мокряди, крупчатый снег не задерживался на одежде, ветер больно сек им лицо.

Надо было отдохнуть, но Иван чувствовал, что если присядет, то наверняка больше уже не встанет. И он брел час или больше, медленно поднимаясь по извилистой тропке. Джулия молча прижималась к нему – он чутко ощущал ее движения и, странное дело, несмотря на усталость, на недавний спор и досаду, чувствовал себя хорошо. Только бы хватило силы, он нес бы ее так, покорно припавшую к нему, далеко, далеко.

Когда уже стали подкашиваться ноги и он испугался, что упадет, из снежной, мятущейся мглы выплыл огромный черный обломок скалы. Иван свернул с тропки и, скользя по камням колодками, направился к нему. Джулия молчала, крепко прижимаясь щекой к его шее. Возле камня Иван повернулся и прислонил к нему девушку. Руки ее под его подбородком разнялись, плечам стало свободнее, и только тогда он почувствовал, какая она все же тяжелая.

– Ну как? Замерзла?

– Нон, нон.

– А ноги?

– Да, – тихо сказала она. – Нёги да.

Все время она казалась необычно тихой, будто в чем-то виноватой перед ним. Он чувствовал это, и ему хотелось как-то по-хорошему, ласково успокоить ее. Только Иван не знал, как это сделать, у него просто не находилось слов, и потому внешне он по-прежнему оставался сдержанным.

Не оборачиваясь, Иван нащупал руками ее ноги. Они совсем окоченели – были холоднее, чем пальцы его рук. От его прикосновения она тихо вскрикнула и рванула ноги к себе.

– Э, так нельзя!

Она, видно, не поняла его, а он удобнее посадил ее на камень и набрал с земли пригоршню снежной крупы.

– А ну давай разотрем.

– Нон, нон.

– Давай, чего там «нон», – незлобиво, но настойчиво сказал он, взял одну ногу, зажал ее в своих коленях, как это делают кузнецы, подковывая лошадей, и стал тереть ее снегом. Джулия дернулась, заохала, застонала, а он засмеялся.

– Ну что? Щекотно?

– Болно! Болно!

– Потерпи. Я тихо.

Как можно бережнее он растер одну ее маленькую, почти детскую, стопу, потом

принялся за другую. Сначала девушка ойкала, потом, однако, притихла.

– Ну как, тепло? – спросил он, выпрямляясь.

– Тепло, тепло. Спасибо.

– На здоровье.

Она укутала ноги полами тужурки, а он, на минуту прислонившись спиной к настывшему камню, выравнивал дыхание. Но без движения сразу стало холодно, ветер насквозь пронизывал его легкую куртку, почти не державшую тепла.

– Хлеба хочешь? – спросил он, вспомнив их прежний разговор внизу.

– Нон, – сразу же ответила она. – Джулия нон хляб. Иван эссен хляб.

– Так? Тогда побережем. Пригодится, – сказал Иван, и они почти одновременно проглотили слюну. Чувствуя, что замерзает, он с усилием заставил себя встать и подставил ей спину:

– Ну, берись!

Молча, с готовностью она обхватила его за шею, прижалась, и ему сразу стало теплее.

– Иван – тихо сквозь ветер сказала она, дохнув теплом в его ухо. – Ду вундершон³¹.

Она уже несколько освоилась у него на спине, осмелела, чувствуя к себе его расположение, спросила:

– Руссо аллес, аллес вундершон! Да?

– Да, да, – согласился он, так как говорить о себе не привык, к тому же тропинка, казалось, вот-вот выведет их на пологое место, и он хотел одолеть кругизну как можно быстрее.

– Правда, Иван хотель пугат Джулия? Да? Иван нон бросат?

Он смущенно усмехнулся в темноте и с уверенностью, в которую сам готов был поверить, сказал:

– Ну конечно...

– Тяжело много, да?

– Что ты! Как пушинка.

– Как это – пушинка?

– Ну, пушок. Такое маленькое перышко.

– Это малё, малё?

– Ну!

Он шел по тропинке, хорошо обозначившейся на свежем снегу. Его шею сзади забавно щекотало теплое дыхание девушки. Гибкие тонкие пальцы ее вдруг погладили его по груди, и он слегка вздрогнул от неожиданной ласки.

– Ты научит меня говорить свой язык?

– Белорусский?

– Я.

Он засмеялся: такой странной тут показалась ему эта просьба.

– Обязательно. Вот придем в Триест и начнем.

Эта мысль вдруг вызвала в нем целый рой необыкновенно радостных чувств. Неужто и в самом деле им посчастливится добраться до Триеста, найти партизан? Если бы это случилось, они бы ни за что не расстались – пошли бы в один отряд. Как это важно на чужой земле – родной человек рядом! Иван уже ощутил ее ласковую привязанность к нему, ее присутствие здесь уже не казалось ему нежеланным или обременительным. Только теперь, пробыв с нею эти два дня, он почувствовал, как одиноко прожил все годы войны – солдатское товарищество тут было не в счет. Ее теплота и участие чем-то напоминали сестринское, даже материнское, когда не нужны были особенные слова, – одно ощущение ее молчаливой близости наполняло его тихой радостью.

Они вошли в седловину, по обе стороны которой высились склоны вершин. Тропинка

³¹ Ты чудесный (нем.).

еще немного попетляла между ними и заметно побежала вниз. В ночной темени сыпал редкий снежок.

– Переваль? – встрепенулась на его спине Джулия.

– Перевал, да.

– О Мадонна!

– Ну а ты говорила: капут! Видишь, дошли.

Он остановился, нагнулся, чтобы взять ее поудобнее, но она рванулась со спины:

– Джулия будет сам. Данке, грацие, спасибо!

– Куда ты рвешься? Сиди!

– Нон сиди. Иван устал.

– Ладно. С горы легко.

Он не отпускал ее ног, и девушке, чтобы не свалиться, снова пришлось обхватить его шею. Она припала щекой к его остывшему плечу и пальцами шутливо потрепала давно не бритый шершавый подбородок.

– О, риччо? Еож! Колуча.

– В Триесте побреемся.

– Триесте!.. Триесте!.. – мечтательно подхватила она. – Партиджан Триесте. Иван, Джулия тэдэско тр-р-р-р, тр-р-р. Фашисто своляч!

Он со сдержанной усмешкой слушал ее, старательно выбирая в темноте дорогу. Однако спускаться было ненамного легче, чем идти в гору. Колодки часто скользили; от постоянного напряжения начали ныть колени; в груди, правда, стало свободней. Все время рискуя упасть, он изо всех сил держался на ногах и где скорым шагом, а где и бегом стремительно спускался с перевала. Джулия на его спине то и дело испуганно вскрикивала:

– О, о, Иван!

– Ничего. Держись!

Ветер тут почему-то стал тише, и оттого, казалось, потеплело. Куда вела тропа и что их ждало впереди, увидеть было невозможно.

Через некоторое время ветер почти стих, перестали мелькать снежинки, повсюду, насколько было видно, теснились запорошенные снегом скалы. Тропа кидалась то вправо, то влево, причудливо изгибаясь на каменистых склонах, которые тут стали более пологими, чем на той стороне перевала. Чувствуя сильную усталость, Иван пошел ровнее, не оглядываясь и только стараясь не сбиться с тропы. Джулия почему-то умолкла. Однажды он попробовал заговорить с ней, но девушка не ответила.

Незаметно задремав у него за спиной, она мерно посапывала, руки ее мягко и нежно лежали на его плечах. Тужурка, видимо, распахнулась, и сзади на своих острых лопатках Иван почувствовал мягкое тепло ее груди. Как назло, в правую колодку его попал камешек. Раз два Иван, не нагибаясь, повертел ногой, но не смог вытряхнуть его. Идти было очень неудобно. Однако Иван не стал будить Джулию – зашагал медленнее и так еще долго шел вниз. Кажется, он и сам задремал на ходу – вдруг перестал понимать, где находится и кто у него за спиной. Но это длилось всего несколько коротких секунд, он тут же пришел в себя, почувствовал ее дыхание и успокоился. Вокруг по-прежнему толпились мрачные утесы с пятнами подтаявшего снега на склонах. Откуда-то снизу потянуло сыростью, порой доносился смолистый запах хвойного леса, где-то далеко сбоку шумел водопад – очевидно, там было ущелье.

Под утرو они спустились в зону лугов.

Снежные пятна вокруг разом исчезли, будто растаяли; стих ветер, стало тепло, только в воздухе прибавилось сырости; по камням из долины поползли влажные клочья тумана. Еще ниже на них пахло устоявшимся ароматом трав, цветов, густым хвойным настоем, и он понял – самое трудное позади. Тропа где-то пропала, но идти было легко. Пройдя еще немного, Иван почувствовал под ногами густую мягкую траву и подумал, что вот-вот упадет. Высокие, до коленей, стебли тугими бутонами цветов хлестали его по ногам. Джулия спокойно спала. Тогда он тихонько, чтоб не разбудить девушку, встал на колени и

осторожно опустился вместе с ней на бок.

Она не проснулась.

Глава четырнадцатая

Против обыкновения в этот раз ему не приснился его всегдашний тревожный сон. Несколько часов он спал беспробудно и глубоко, потом призрачная смесь бреда и реальности завладела его сознанием.

В двадцать пять лет юность уже на отлете, многого из простых человеческих радостей уже не вернуть и не пережить, если не пришлось пережить их в прежние годы, и в этом смысле люди, пожалуй, достойны большего, чем то, что приготовила судьба Ивану Терешке. Правда, он редко задумывался над этим, было не до погони за счастьем – дома приходилось заботиться о том, чтобы как-то прожить, встать на ноги; позже, во время войны, понятное дело, куда большие заботы волновали его. Было не до любви. Он не знал женщины и все же, как это часто случается в молодости, к обычным взаимоотношениям парней и девчат относился скептически.

Года два назад на Северо-Западном фронте Иван был ранен одновременно со своим ротным – старшим лейтенантом Глебовым, у которого служил ординарцем.

Ранило их в лесу, когда ротный шел на совещание к командиру полка. Сжав свое рассеченное осколком плечо, Терешка кое-как выволок командира из-под огня, перевязал, потом по снегу дотащил до дороги, где их и подобрала обозники. Иван при своей легкой ране чувствовал себя сносно, а вот с ротным дело было намного хуже. Старший лейтенант потерял много крови, почти не говорил, только попросил, чтобы его сразу отправили в госпиталь, минуя дивизионный санбат. Ординарец понимал беспокойство офицера: Глебов не хотел расстраивать Анюту – тоненькую, с широко раскрытыми глазами девушку, недавнего санинструктора их роты, ставшую медсестрой санбата. Все в роте знали, что у них с Глебовым не просто игра, а самая настоящая любовь – именно поэтому ротный накануне добился перевода ее в санбат, где было все же потише, чем на передовой. Автоматчики роты по-своему тоже любили девушку – уважая ротного, уважали и его любовь. У ординарца же было свое отношение к ней – видимо, потому, что ближе других был к Глебову, он привязался и к Анюте, как к младшей сестре, а может, даже и больше.

Случилось, однако, так, что миновать санбат было нельзя. Где уж там везти раненого в тыловой госпиталь, когда Иван испугался, успеют ли доставить хотя бы в санбат. Кони быстро неслись по наезженной санной дороге, а Иван все покрикивал на ездового – пожилого нерасторопного бойца в двух шинелях поверх телогрейки, – чтобы тот погонял быстрее. Глебов стал забываться, бредил, ругался. Ординарца он уже не узнавал, как не узнал и Анюту, которая с криком упала на сани, когда они подъехали к большой брезентовой палатке санбата.

Иван на всю жизнь запомнил тот вечер, звездное морозное небо, мрачные ели, привычный запах дыма, тихий гомон людей в палатке и больше всего – неутешное горе Анюты. Ее не пускали в операционную, хотя она рвалась туда и плакала. Иван тоже сидел у входа, забыв о собственной боли, ловил от выходящих сестер каждую весточку о состоянии ротного. Вести были неважные – оперировали старшего лейтенанта долго и трудно, переливали кровь, бегали за физиологическим раствором. Иван ждал, Анюту не утешал – самому было тяжело, только курил, пока не опустел, кисет.

Глебов умер во время операции. Ему не успели даже наложить швы.

Внезапное горе будто испепелило что-то в душе Ивана. Он и сам не думал, что так тяжело будет переживать эту смерть. Видимо, его переживания усиливались при виде чужого несчастья. Анюта несколько дней не являлась на дежурство, и никто ее не осуждал за это. Наоборот, раненые, лежа на походных кроватях-носилках в огромной, как рига, палатке, с уважением отнеслись к ее горю. Только Иван молчал и думал. Тогда-то у него, очевидно, и зародилось особое чувство к ней. Нет, это новое чувство не было любовью: то, что он

чувствовал к девушке, скорее напоминало глубокое уважение, и только.

За долгие зимние вечера, проведенные в санбате, он, пожалуй, вовсе разучился шутить, улыбаться, только бесконечно дымил моршанской махоркой, глядя на сияющее мелькание в печи, сооруженной из железной бочки, которую докрасна накаливал санитар Ахметшин. С Анютой после памятного вечера они почти не разговаривали, и без того хорошо понимая душевное состояние друг друга. Приступив после недолгого перерыва к дежурству, она потеряла свою всегдашнюю живость, стала не по годам задумчивой и строгой. Общее горе роднило их. Иван кое в чем помогал ей в палатке, никогда ни словом не обмолвившись об их переживаниях, и она была благодарна ему.

Обычно поздно вечером, управившись с делами, Анюта присаживалась к нему на койку и тоже смотрела на огонь; кто-нибудь в это время рассказывал в темном углу трудный фронтальный случай или что-либо повеселее из довоенного прошлого. И было так хорошо.

Но время шло, раненые в санбате менялись; одних эвакуировали дальше в тыл, других, подлечив, выписывали на передовую. И вот однажды небольшая на первый взгляд перемена сразу нарушила мирный покой этой палаты.

Как-то после обеда, когда Иван принялся собирать грязные котелки, чтобы отнести их на кухню, у входа в палатку послышались голоса, топот ног, и двое санитаров втащили носилки с раненым. На носилках под полушубком лежал молодой командир с двумя шпалами в черных петлицах (оказалось потом, что он из танковой части, которая поддерживала их дивизию). Майора начали устраивать в углу, всем распоряжался сам комиссар санбата. Иван, унося на кухню посуду, невольно удивился такому вниманию к раненому. Когда же он вернулся, майор уже сидел на носилках. Согревшись, он сбросил с себя овчинную безрукавку, из-под нее на широкой груди танкиста заблестели шесть орденов. Раненые в палате притихли, с любопытством повернув головы в его сторону.

Майор оказался бойким, общительным человеком, легко раненным в обе ноги. Он попусту не глядел в потолок, как другие в первые дни после ранения, а быстро перезнакомился с бойцами и санитарями, сразу стал на дружескую ногу с сестрами, обращаясь со всеми просто и весело. Через день-два к нему зачастили дружки-сослуживцы. Иногда заходило начальство. При всей своей завидной общительности командир вскоре, однако, потребовал устроить в углу перегородку. Ребята не удивились – все же он был майор, и потому понятным стало его желание как-то отделиться от бойцов, хотя это и не было принято в палате для легкораненых. Просьбу майора уважили: в углу появилась обвешанная простынями боковушка, и с тех пор самое интересное в палате происходило за этой ширмой.

Иван начал хмуриться, порой подавлял в себе, казалось бы, беспричинную злость, глядя, как повеселела, оживилась Анюта, как нет-нет да и забежит по какому-нибудь делу в эту боковушку. Майор тоже заметил шустрю сестру и всяческими знаками внимания начал выделять ее среди остальных. Однажды вечером она дольше обычного задержалась у него, майор что-то все говорил ей о музыке, о какой-то опере. Анюта слушала, переспрашивала и вообще с чрезмерным интересом отнеслась к его рассказу. Даже опоздала с докладом к дежурному, за что получила выговор.

С того вечера она стала еще веселее, с беззаботной ловкостью носилась по проходу между носилками, шутила с бойцами и даже запела как-то: «Синенький скромный платочек». Очевидно, она так бы и не догадалась о степени своего вероломства, если бы в эту минуту не взглянула на Ивана. Видно, взгляд попал ей в самое сердце – Анюта запнулась, выпустила из рук моток бинта и, не подняв его, выбежала из палаты. Он, разумеется, ничего не сказал ей, только думал: это не так, не может она так, он ошибается, ему все кажется! Чужая любовь незаживающей раной постоянно ныла в его душе, и Иван, как умел, оберегал ее, страдал из-за нее, как, может быть, не смог бы страдать из-за своей, которой у него еще не было.

Но, видно, он ошибался, успокаивая себя. Вскоре Иван заметил, что Анюта избегает его, не хочет даже встречаться взглядом, что ее настойчиво тянет туда, за простыни.

Иван еще больше замкнулся, похудел, начал реже ходить за дровами, и в палате помогать Ахметшину стали другие выздоравливающие.

Так прошло еще несколько дней.

Однажды Анюта делала майору укол. Было утро, слабо брезжил рассвет, и по ту сторону занавесок мигала «катюша». Чутко прислушиваясь к каждому движению в боковушке, Иван еловым веником выметал земляной проход в палатке, как вдруг увидел на простынях две тени. Видно было, как Анюта рванулась из мужских цепких рук, но затаилась, не крикнула. Иван кое-как домел пол, потом, потеряв всякий интерес к окружающему, лег на крайний в темном углу матрац и долго лежал так, погруженный в себя. Когда же утренняя суэта улеглась, он собрал свою одежду, завязал вещмешок и, ни с кем не простившись, вышел на дорогу.

К обеду он был уже в роте.

Старшина, который на другой день ездил в медсанбат за его продаттестатом, рассказал о непонятной выходке Терешки. Ребята немного позубоскалили и успокоились, а Иван долго еще молчал в темной землянке. Разве мог кто догадаться, что происходило в его душе! Рана на плече постепенно зажила, а тоска от поруганной чужой любви осталась, и Иван думал, что девушки не для него.

Глава пятнадцатая

Первым его ощущением реальности было тепло.

Даже не тепло, а жара, скорее духота. Чудилось, будто лежит он на носилках в медсанбате, возле бочки-печки, которую так немилосердно накалил Ахметшин. Пекло не только ноги, больше голову и плечи. Иван чувствовал на себе липкую мокроту пота. Ему очень хотелось пить, повернуться, чем-то заслониться от этого изнуряющего зноя. Но сонливая усталость овладела им так сильно, что он не мог даже раскрыть глаз.

Так он томился в дремоте, и сон постепенно начал отступать. Иван потянулся, откинул руку и неожиданно ощутил росистую прохладу травы. Он с усилием раскрыл глаза, и первое, что увидел, был ярко-красный цветок возле лица, робко и доверчиво подставлявший солнцу свои четыре широких глянцевиных лепестка, на краю одного из которых рдела-искрилась готовая вот-вот сорваться прозрачная, как слеза, капля. Легкий утренний ветерок тихо раскачивал его длинную тонкую ножку; где-то поодаль, в пестрой густой траве, сонно гудела оса. Вскоре, однако, басовитое жужжание оборвалось, и тогда Иван понял, что вокруг стояла полная, всеобъемлющая тишина. От тишины он давно отвык, она пугала; не понимая, где он, Иван рванулся с земли, широко раскрыл покрасневшие после сна глаза и радостно удивился невиданной, почти сказочной красоте вокруг.

Огромный луговой склон в каком-то непостижимом солнечном блеске безмятежно сиял широким разливом альпийских маков.

Крупные, лопушистые, не топтанные ногой человека цветы, взращенные великой щедростью матери-природы, миллионами красных бутонов переливались на слабом ветру, раздольно устремляясь вниз, на самый край горного луга. Иван бросил взгляд дальше, вперед, куда предстояло идти, и невольная радость его исчезла. Далеко за долиной снежными разводами светлел все тот же массивный Медвежий хребет. Он был куда выше пройденного, который двумя близнецами-вершинами высился позади; огромная тень от него прозрачной сиреневой дымкой накрывала половину широкой долины. Не заслоненный теперь ничем, этот великан оставался таким же далеким, сияющим и недоступным, как и вчера.

И тут Иван встрепенулся: только теперь до его сознания дошел тревожный смысл тишины – где Джулия? Он снова огляделся – вокруг никого не было, рядом на примятых маках одиноко валялась тужурка. Но первая тревога его тут же исчезла – пистолет и обломанная треть буханки, прикрытые, очевидно, от солнца рукавом тужурки, лежали в траве. Тогда он вскочил на ноги, его лихорадочный взгляд заметался по склону. Где она?

Неужели?.. В душе возникла недобрая догадка, но он не мог поверить в нее. Почему не мог, он не знал, только не хотел – он жаждал видеть, слышать, чувствовать ее рядом. Одиночество внезапно поразило его хуже всякой неудачи.

Он схватил пистолет, хлеб, сунул под мышку тужурку и бросился по траве вниз. Влажные бутоны били по его распухшим и сбитым ногам. Он оглянулся, вспомнив про колодки, но их не было. Тогда он опять быстро зашагал по лугу, шаркая ногами в сплошных зарослях маков, отошел довольно далеко и остановился – сзади по росистым цветам пролегал его след. Вокруг лежало никем не тронутое красное море.

Это навело его на догадку. Иван перехватил под мышкой тужурку и быстро вернулся назад.

Действительно, в росистой траве заметны были другие следы. Они вели в сторону, где начинался распадок, и Иван торопливо побежал к нему. Ступни и штанины его быстро намокли от росы. Сильный аромат цветов пьянил голову, очень хотелось есть, от истомы и слабости темнело в глазах. Это были старые, привычные ощущения. Крепкое от природы, закаленное тело Ивана противостояло им, он чувствовал, что силы у него еще не иссякли.

Сдерживая душевную тревогу, Иван обежал колючие рододендроновые заросли, усыпанные большими, с кулак, красными цветами, и тут со стороны небольшого распадка услышал шум водопада. Вскоре шум усилился, стало видно, как из черного, блестящего от сырости каменного желоба, разбиваясь о скалу, ниспадала блестящая водяная струя. Вокруг в туманном мареве рассыпались мелкие брызги, а в стороне от них на мрачном каменном фоне висело в воздухе разноцветное радужное пятно. Равнодушный к этой неожиданной красоте гор, Иван взбежал выше, но вдруг остановился и тихонько опустился на землю: в полусотне шагов под струистой россыпью водопада спиной к нему стояла на камне и мылась Джулия.

Он сразу узнал ее, хотя, обнаженная, она утратила проклятые признаки гефтинга и наедине с природой казалась совсем другой в своем чудесном девичьем совершенстве, полном таинственности и целомудрия. Девушка не видела его и, настороженно сжавшись, терпеливо подставляла свое худенькое легкое тело под густую сеть струй, готовая при первом же шорохе встрепнуться и исчезнуть. На ее блестящих от брызг остреньких плечах переливался разноцветный радужный блик.

Не в состоянии одолеть в себе застенчиво-радостного чувства, Иван медленно опустился в траву, лег, повернулся на спину – над ним сияло чистейшее, без единого облачка, небо, влажные запахи земли хмельной брагой кружили голову. Иван распластался на прохладной траве и от избытка счастья тихо засмеялся.

В тайниках его души неугасимо тлела тревога: впереди был труднодоступный хребет, сзади... Ясно, чего можно было ждать сзади. Но теперь в этом заповедном уголке, рядом с найденной девушкой, ставшей уже дорогим ему человеком, Ивану сделалось по-детски хорошо и светло на сердце, как не было, пожалуй, ни разу за все годы плена. И он лежал в траве, жадно впитывая эту неожиданную, непостижимую радость и не стараясь даже осознать, откуда она и что с ним случилось – просто был по-человечески счастлив, и все. Правда, вскоре он понял, что все это ненадолго – беспокойное и трудное упрямо не оставляло его в этом мире и если забылось, то лишь на время, уступив место вдруг охватившей его безмятежности.

Он не поднимался из маков и ни разу не взглянул на нее. Стыдливая деликатность мешала ему сделать это; лежа на животе, он рвал возле себя маки и машинально складывал их в букет. Полный тихой, сдержанной нежности, он продолжал это занятие, пока не услышал торопливые шаги. Он поднял голову: под водопадом никого уже не было. На ходу надевая полосатую куртку, Джулия пробежала не遠деке, направляясь туда, где оставила его. Он опять тихо засмеялся, увидел ее нетерпеливый, озабоченный, устремленный вдаль взгляд, но не окликнул, а, схватив тужурку, не спеша пошел следом.

Поблескивая на солнце мокрыми и черными, как смоль, волосами, она быстро обежала рододендрон и, будто споткнувшись, остановилась возле измятых маков. Даже издали

нетрудно было заметить ее испуг и растерянность, с какими она взглянула в одну сторону, затем в другую и кинулась по склону вниз. Однако в следующее мгновение что-то заставило ее оглянуться.

– Иван!!!

В этом восклицании прозвучали одновременно испуг, облегчение и радость; она всплеснула руками и птицей бросилась ему навстречу. Иван остановился. Казалось, целую вечность не видел он этих сияющих радостных глаз, нежной смуглости щек, беспорядочной россыпи ее коротко подстриженных волос. Все в нем рвалось к ней, но он сдержал себя, молчал. Она же, подминая колодками маки, подскочила к Ивану, обеими руками обхватила его за шею и, повиснув на ней, обожгла его пьянящим, озорным поцелуем.

Он затаил дыхание, а она, все еще обнимая его, порывисто откинула голову и захохотала, влюбленно вглядываясь в его лицо, горевшее от прикосновения ее холодных, упругих губ. Затем, не переставая смеяться, разжала пальцы, легко оттолкнула его и опустила в траву. Глаза ее искрились и сияли, куртка, застегнутая на одну палочку-пуговицу, распахнулась, и в треугольнике-ямке меж грудей блеснул маленький синий эмалевый крестик. Этот крестик на миг задержал на себе его взгляд. Она сразу же спохватилась и запахнула куртку, по-прежнему смеясь глазами, лицом, широким белозубым ртом, каждой частицей молодого, холодного после купания тела.

Он, однако, внезапно насупился, смутился, за какие-нибудь полминуты, стоя так, почувствовал, как что-то в нем рушится, какая-то неведомая сила подчиняет себе его волю. Только теперь он уже не стал с этой силой бороться – подчинился, потому что в этом подчинении была радость, и он сделал шаг к девушке. Джулия вдруг оборвала смех и вскочила навстречу.

– Иван! – вскрикнула она, увидев цветы в его руках. – Это ест для синьорина? Да? Да?

Он и сам только теперь обратил внимание на букет маков, бессмысленно смятых в руках, и засмеялся. Она также засмеялась, понюхала цветы, утопив в букете свое маленькое милое личико. Затем положила букет на траву и быстро-быстро начала рвать вокруг себя маки.

– Джулия благодарит Иван. Благодарит – очэн, очэн...

– Не надо, что ты! – пытался остановить ее Иван.

– Очэн, очэн благодарит надо! Иван спасает синьорину! Руссо спасат итальяно! Это есть bravo! – восторженно говорила она, продолжая рвать маки. Потом с целой охапкой их подбежала к Ивану и вывалила все цветы ему на грудь.

– Ну что ты! – удивился он. – Зачем?!

– Надо! Надо! – смешно коверкая русские слова, настаивала она, и он вынужден был обхватить вместе с охапкой маков и тужурку с завернутым в нее хлебом. Джулия, видно, на ощупь почувствовала там хлеб и, вдруг посерьезнев, вскрикнула:

– Хляб?!

– Ага, давай поедим, – оживился Иван, положил все на землю и сел сам.

Джулия с готовностью присела рядом.

Глава шестнадцатая

– Съесть бы все сразу, – сказал Иван, держа в руке черствый, с килограмм весом, кусок хлеба – измятый, обломанный по краям и все же такой аппетитный и желанный, что оба, глядя на него, опять проглотили слюну.

– Асё, асё, – как эхо, согласно отозвалась Джулия, не сводя глаз с хлеба.

Иван поверх ее головы оглядел далекий заснеженный хребет и вздохнул:

– Нет, все нельзя.

– Нельзя? Нон?

– Нон.

Она поняла и также вздохнула, а Иван разостлал на земле тужурку и положил на нее

этот более чем скромный остаток припаса. Предстояло отмерить две равные пайки.

Он старательно разламывал хлеб, раскладывая кусочки на две части и чувствуя голодную несдержанность Джулии. В его душе росло новое чувство к ней – то ли братское, то ли даже отцовское, доброе и большое. Оно переполняло его уважением к ней, такой по-девичьи неприспособленной к великим невзгодам войны и такой бездумно решительной в своем почти подсознательном, словно у птицы, стремлении к свободе.

Иван сосредоточенно делил хлеб. Каждый ломтик, каждая крошка взвешивались их зоркими взглядами. Он сознательно сделал одну пайку побольше, потому что в другой была горбушка, что согласно лагерной логике считалось более ценным, нежели такой же по весу кусок мякиша. Когда все было разделено, остаток граммов двести Иван засунул в карман тужурки.

– Это тебе, это мне, – сказал он просто, без традиционного ритуала дележки, и подвинул ей кусок с горбушкой.

Она решительно вскинула смоляные брови:

– Нон. Это Иван, это Джулия. – И поменяла куски местами.

Он глянул ей в лицо и улыбнулся:

– Нет, Джулия, не так. Это тебе.

Потом быстро взял с тужурки свою порцию. Джулия с шутливым недовольством поморщилась и вдруг неожиданно сунула одну свою корку в его руку. Он с коркой тотчас подался к девушке, но та, смеясь, увернулась, вскинула руки с пайкой, чтобы он не достал их. Иван все же дотянулся до рук, Джулия отшатнулась, невольно коснувшись его грудью, и, чтобы удержаться, ухватила за его плечо. Смех ее вдруг оборвался. Неожиданная близость заставила его смутиться. Пересилив в себе новый, неосознанно-радостный порыв, он отодвинулся в сторону и сел на полу тужурки. Она же, как девчонка, лукаво улыбнулась, взмахнула ресницами и стала поправлять на груди куртку.

– Бери, ешь. Это же твоя, – сказал он, пододвигая ей корку.

– Нон.

С озорным упрямством в глазах, поблескивая зубами, она принялась грызть свою горбушку.

– Бери, говорю.

– Нон.

– Бери.

– Нон, – не сдавалась она, смеясь глазами.

– Упрямая. Ну как хочешь, – сказал Иван и откусил от своего куска.

Она быстро проглотила все, разумеется, не наелась и тайком стала поглядывать на оттопыренный карман тужурки. Иван, неторопливо жуя, замечал ее взгляды и невольно сам начал думать: а не съесть ли все без остатка, чтоб хоть один раз утолить голод? Но все же усилием воли отогнал эти мысли, потому что слишком хорошо знал цену даже и такому крохотному кусочку, как этот.

– Еще хочешь? – спросил он наконец, доев сам.

Она с подчеркнутой решимостью, словно боясь передумать, покрутила головой.

– Нон! Нон!

– А это? – кивнул он на корку, все еще лежавшую на середине тужурки.

– Джулия нон.

– Тогда давай так: пополам.

– Вас ист дас – пополам?

Девушка вопросительно сморщила носик. Солнце светило ей в лицо, и она невольно гримасничала, словно шутя дразнила Ивана.

Он разломил корку и одну часть дал ей. Она нерешительно взяла и, откусив маленький кусочек, посасывала его.

– Карашо. Гефтинген чоколядо.

– Да уж при такой жизни и хлеб – шоколад.

– Джулия бежалъ Наполи – кушалъ чоколядо. Хляб биль малё – чоколядо много, – сказала она, щуря темные, как ночь, глаза.

Иван не понял:

– Бежала в Неаполь?

– Си. Рома бежалъ. От отэц бежалъ.

– От отца? Почему?

– А, уна... Една историй, – неохотно отозвалась она, еще откусила кусочек и пососала его. Потом с чрезмерным вниманием осмотрела корку. – Отэц хотель плёхой мари-то. Русско – ето муж.

Муж! Это слово неожиданно укололо его сознание, он сжал челюсти и нахмурился. Она, видимо, почувствовала это, с лукавинкой в глазах искоса взглянула на его омрачившееся лицо и усмехнулась:

– Нон марито. Синьор не биль муж. Джулия не хотель синьор Дзангарини.

Иван, все еще хмурясь, спросил:

– А почему не хотела?

– О, то биль уно сегрето.

– Какой секрет?

Она, бросая смешливые взгляды то по сторонам, то исподлюбья на него, сосала корку, а он сидел, уставившись в землю, и дергал с корнями пучки травы.

– О, сегрето! Маленько сегрето. Джулия любиль, любиль... как ето русско?.. Уно джованотто – парень Марио.

– Вот как? – сказал он и отбросил вырванный пучок травы, ветер сразу рассеял в воздухе травинки. Иван повернулся боком. Теперь он почему-то не хотел смотреть на нее и лишь мрачно слушал. А она, будто не чувствуя этой перемены в нем, говорила:

– Карашо биль парень. Джулия браль пистоля, бежалъ Марио Наполи. Наполи гуэрро, война. Итальяно шиссен дойч. Джулия шиссен, – она вздохнула. – Партиджано итальяно биль мало, тэдэски мнёго.

– Что, против немцев воевали? – догадался Иван.

– Си. Да.

– Ого! – сдержанно удивился он и спросил: – А где же теперь твой Марио?

Она ответила не сразу, поджав колени к груди, гибкими руками обхватила длинные ноги и, положив на них подбородок, посмотрела вдаль:

– Марио фу уччизо.

– Убили?

– Си.

Они помолчали. Иван уже превозмог свою скованность, взглянул на нее. Она, став серьезной, выдержала этот взгляд. Потом глаза ее начали заметно теплеть под его взглядом. Недолгая печаль в них растаяла, и она рассмеялась.

– Почему Иван смотри, смотри?

– Так.

– Что ест так?

– Так есть так! Пошли в Триест.

– О, Триесте! – Она легко вскочила с травы. Он также встал, с неожиданной бодростью размашисто перекинул через плечо тужурку. По огромному полю маков они пошли вниз.

Солнце припекало все больше. Тень от Медвежьего хребта постепенно укорачивалась в долине, знойное пепельное марево дрожало на дальнем подножии горы, окутывало лесные склоны. Только снежные хребты вверху ярко сияли, выставив, как напоказ, каждое блеклое пятно на своих пестрых боках.

– Триесте карашо. Триесте партиджано! Триесте море! – оживленно лепетала Джулия и, очевидно, от избытка переполнявших ее радостных чувств запела:

Ми пар ди удире анкора,

Ля воче туа, им мэдзо ай фьори³².

Она негромко, но очень приятно выводила напевные слова. Он не знал, что это была за песня. Мелодичные ее переливы напоминали мерное волнение моря. Что-то безмятежное и доброе, очаровывая, влекло за собой...

Пэр нон соффрире,
Пэр нон морире,
Ио ти пенсо, э ти амо...³³

Иван, затаив дыхание, слушал этот мелодичный отголосок другого, неведомого мира, как вдруг девушка оборвала песню и повернулась к нему:

– Иван! Учит Джулия «Катуша»!

– «Катюшу»?!

– Си. «Катушу».

Ра-а-сцетали явини и гуши,
По-о-пили туани над экой... —

пропела она, откинув голову, и он засмеялся: так это было неправильно и по-детски неумело, хотя мелодия у нее получалась неплохо.

– Почему Иван смехио? Почему смехио?

– Расцветали яблони и груши, – четко выговаривал он. – Поплыли туманы над рекой.

Она со смешинкой в глазах выслушала и закивала головой:

– Карашо. Понималь.

Ра-асцетали явини и груши... —

– Вот теперь лучше, – сказал он. – Только не явини, а яблони, понимаешь? Сад, где яблоки.

– Да, понималь.

С усердием школьницы она начала петь «Катюшу», отчаянно перевирая слова, и оттого ему было смешно и хорошо с ней, будто с веселым, ласковым, послушным ребенком. Он шел рядом и все время улыбался в душе от тихой и светлой человеческой радости, какой не испытывал уже давно. Неизвестно откуда и почему родилась эта его радость – то ли от высокого ясного неба, щедрого солнца, то ли от картинного очарования гор или необъятности простора, раскинувшегося вокруг, а может, от невиданного торжества маков, удивительно крепкий аромат которых наполнял всю долину. Казалось, чем-то праздничным, сердечным дышало все среди этих гор и лугов, не верилось даже в опасность, в плен и возможную погоню и почему-то думалось: не приснился ли ему весь минувший кошмар

32

Мне до сих пор слышится
Твой голос среди цветов (*итал.*).

33

Чтобы не страдать,
Чтобы не умирать,
Я думаю о тебе и тебя люблю... (*итал.*.)

лагерей с эсэсманам, со смертью, смрадом крематориев, ненавистным лаем овчарок? А если все это было на самом деле, то как рядом с ним могла существовать на земле эта первозданная благодать – какая сила жизни сберегла ее чистоту от преступного безумия людей? Но то отвратительное, к сожалению, не приснилось, оно не было призраком – их разрисованная полосами одежда ежеминутно напоминала о том, что было и от чего они окончательно еще не избавились. И тут, среди благоухающей чистоты земли, эта их одежда показалась Ивану такой ненавистной, что он сорвал с себя куртку и прикрыл ее тужуркой. Джулия перестала петь и, улыбнувшись, осмотрела его слегка загоревшие, широкие плечи.

– О, Эрколе! Геркулес! Руссо Геркулес!

– Какой Геркулес. Доходяга! – скромно возразил Иван.

– Нон, нон! Геркулес!

Она шутливо хлопнула его по голой спине и обеими руками сжала опущенную вниз руку.

– Сильно, карашо, руссо. Почему плен шель?

– Шел! Вели, вот и шел.

– Надо бить фашисто! – она решительно взмахнула в воздухе маленьким кулачком.

– Бил, пока мог. Да вот...

Подняв локоть, он повернулся к ней другим боком, и на ее подвижном личике сразу отразилась жалость, почти испуг.

– Ой, ой! Санта Мария!

– Вот и Геркулес, – вздохнул он.

– Болно? – бережным прикосновением она осторожно пощупала огромный широкий рубец – след ножевого штыка.

Он решительно потер бок.

– Уже нет. Отболело.

– Ой, ой!

– Да ты не бойся, чудачка, – ласково сказал он. – А ну сильнее.

Она никак не осмеливалась, и он, взяв в ладонь ее тонкие пальцы, надавил ими на шрам. Джулия испуганно вскрикнула и прижалась к нему. Иван придержал девушку за плечи, и это короткое прикосновение опять заставило его поспешно отстраниться от нее. «Нет, так нельзя! Нельзя себя распускать! Надо скорее уходить».

– Вот что, – нахмурившись, сказал Иван, коротко взглянув на Джулию. – Надо быстрее идти, понимаешь?

– Я, – согласилась она, усмехнувшись и с какой-то испуганно-затаенной мыслью глядя ему в глаза.

Глава семнадцатая

Они спустились по склону от верхней границы луга к его середине. Тут маки начали постепенно редеть, уступая место другим цветам. Кое-где сидели скопления душистых незабудок, качались на ветру колокольчики, от густого аромата желтой азалии кружилась голова. Местами в цветочных зарослях попадались каменистые плечи, возле них всегда было много колючей щебенки, особенно докучавшей его босым ногам. Иван начал осторожнее выбирать путь, поглядывая под ноги. Один раз перед его глазами в траве сверкнула красная капля, он нагнулся – между зубчатыми листочками рдело несколько крупных ягод земляники. Только он сорвал их, как рядом увидел еще такие же красные ягоды. Тогда Иван положил тужурку, присел; Джулия тоже со счастливым криком бросилась собирать ягоды.

Их было много – крупных, сочных, почти всюду спелых. Иван и Джулия собирали и ели их – жадно, пригоршнями, забыв о погоне и об опасности. Прошло немало времени, солнце передвинулось на другую сторону неба и в упор освещало долину с перелесками и изрезанный извилинами расселин Медвежий хребет.

Обливаясь потом, Иван ползал на коленях, раздвигая руками траву, когда услышал позади шаги Джулии. Он оглянулся и, вытирая лоб, сел на землю. Пряча в живых глазах лукавую усмешку, девушка быстро подошла к нему, опустилась на колени и развернула уголок своей куртки. На измазанной земляничным соком поле краснела рассыпчатая кучка ягод.

– Битте, руссо Иван, – нарочито жеманно предложила она.

– Ну зачем? Я уже наелся!

– Нон, нон. Эссэн! Эссэн!

Захватив в горсть ягод, она почти силой заставила его съесть их. Потом съела немного сама и снова поднесла горсть к его рту. Ягоды из ее рук имели почему-то совсем другой вкус, чем съеденные по одной. Он вобрал их в рот губами и шутливо прихватил зубами теплую душистую кожуру ее ладони.

Джулия озорно пригрозила:

– Нон, нон!

Остатки они доели сообща. Встав с травы, Иван поднял лежавшую в маках тужурку.

– Айда?

– Айда, – согласно подхватила она.

Довольные друг другом и как-то сблизившиеся, они пошли дальше. Джулия доверчиво положила руку на его плечо.

– Земляника – это хорошо, – сказал он, нарушая тихое, доброе, но почему-то неловкое молчание. – Я до войны не одно лето ею кормился. Земляника да молоко.

– О, руссо – веджитариано! – удивилась она. – Джулия нон веджитариано. Джулия любил бифштекс, спагетти, омлет.

– Макароны еще, – добавил он, и оба засмеялись.

– Я, я, макарони, – подтвердила она и задорно поддразнила: – А руссо земляньико?

– Бывает. Что ж поделаешь, когда голод прижмет, – невесело согласился Иван.

Джулия удивленно взглянула на него.

– Почему голяд? Почему голяд? Русланд как голяд? Русланд само богато? Правда?

– Правда. Все правда.

– Почему голяд? Говори! – настаивала она, заметно встревоженная его словами.

Он помолчал, ступая по траве и нерешительно соображая, стоит ли говорить ей о том, что было. Но он уверовал уже в ее ласковое расположение к нему, потянулся к ней сам, и потому в нем начала пробуждаться давно уже не испытываемая потребность в откровенности.

– Случается, когда неурожай. В тридцать третьем, например. Траву ели...

– Вас траву?

– Какую траву? – он нагнулся и сорвал горсть травы. – Вот эту самую. Без цветов, конечно. С голоду отец умер.

Джулия удивленно остановилась, строгое ее лицо помрачнело. Испытующе-подозрительным взглядом она смотрела на Ивана, но ничего не сказала, только выпустила его руку и почему-то сразу замкнулась. Он, опечаленный невеселым воспоминанием, тихонько зашагал дальше.

Да, голодали, и не только в тридцать третьем. Спасала обычно картошка, но и ее не всегда хватало до новой. После смерти отца в семье осталось четверо детей. Иван старший. Он вынужден был растить с матерью ребят, кормить семью. Ой, как нелегко это досталось ему!

Он задумчиво шел, поглядывая вниз, где мелькали в траве сизые колодки на ее ногах и тихо шевелились, плыли на ходу две короткие тени. Джулия, однако, начала отставать, он почувствовал какую-то перемену в ее настроении, но не оглядывался.

– И Сибирь биль? Плёхой кольхоз биль? – с каким-то вызовом в неожиданно похолодевших глазах заговорила девушка.

Почти в испуге он остановился и внимательно посмотрел на нее:

- Ты что? Кто тебе сказал?
- Один плёхой руссо сказал. Ты хочешь сказал. Я зналь!..
- Я?
- Ти! Говори!
- Ничего я не хочу. Что я тебе скажу?
- Ну говори: Джулия нон правда. Джулия ошибалась!

Он смотрел на девушку – лицо ее стало злым, глаза остро блестели, ее недавнее расположение к нему исчезло, и он напряженно старался понять причину этой ее перемены, так же как и смысл ее неприятных вопросов.

- Ну говори! Говори!

Видно, действительно она что-то уже слышала, возможно, в лагере, а может, еще в Риме. Но он теперь не мог ничего объяснить ей, он уже жалел, что упомянул про голод.

- Биль несправядливость? – настойчиво спрашивала Джулия.
- Какая несправедливость? О чем ты говоришь?
- Люди Сибирь гналь?
- В Сибирь?

Он испытующе взгляделся в ее колючие глаза и понял, что надо или сказать правду, или что-то придумать. Однако лгать он не умел и, чтобы разом прекратить этот разговор, неласково буркнул:

- Когда раскулачивали – гнали.
- Джулия с горечью закусила губы.

– Нон правда! – вдруг крикнула она и будто ударила его взглядом – столько в ее глазах было горечи, обиды и самой неприкрытой враждебности.

- Нон правда! Нон! Иван – Власов!

Она вдруг громко всхлипнула, прикрыла руками лицо. Иван испуганно подался к девушке, но она остановила его категорическим гневным: «Нон!» – и побежала по склону в сторону. Он стоял, не зная, что делать, и лишь растерянно смотрел ей вслед. Мысли его вдруг спутались. Он почувствовал, что произошло что-то нелепое, недоговоренное и дурное, но как исправить это – не знал.

Джулия добежала до голого взлобка, взобралась на него и, скорчившись, подогнула колени. На него она даже и не взглянула.

«Ну и ну! Власов!» – ошеломленный, сказал себе Иван и, вздохнув, затоптался а траве. Казалось, он действительно совершил что-то плохое, опрометчиво разрушил с таким трудом налаженное и нужное ему согласие с ней – от сознания этого все в нем мучительно заныло, увяла недавняя тихая радость, на душе стало одиноко и горько.

Ну конечно, она что-то слышала о том, что происходило в его стране в те давние годы. Возможно, ей представляли это совсем в ином свете, нежели было на самом деле, только как теперь объяснить Джулии все, чтобы она поняла и не злилась?

Перекидывая с плеча на плечо тужурку, Иван топтался на месте. Затылок и плечи его сильно обжигало солнце, а он, сколько ни думал, все не мог понять, что же между ними произошло и в чем тут его вина. Конечно, о голоде лучше бы промолчать, может, не надо было упоминать и о раскулачивании, хоть и неприятно это – скрывать правду, но теперь, по-видимому, надо было это сделать. Очень уж обидно было лишиться ее доверия именно сейчас, после всего совместно пережитого. В то же время Иван подсознательно чувствовал, что дело тут было не в нем: в душе обоих рождалось нечто великое и важное, перед которым всякая расчетливость казалась унижительной.

Вот жди теперь неизвестно чего! Можно было представить себе, как восприняла бы Джулия его правду, высказанную без обиняков, могла ли она понять всю сложность того, что происходило в его стране?

Что и говорить, действительно, положение его было более чем затруднительное.

Ну и пусть! Он не станет ей врать, скажет все как было, и, если у этой девушки чуткое сердце в груди, она поймет, что никакой он не власовец, и как должно отнесется к нему и к

его достойному уважения народу. Это Иван вдруг понял с отчетливой ясностью, и ему стало легче и спокойнее – будто решилось что-то и осталось только дожидаться результата.

Глава восемнадцатая

Но дожидаться у Ивана не хватило терпения.

Джулия, отвернувшись, сидела поодаль, задумчиво ковыряя землю, и он, помедлив, взял тужурку и тихонько побрел к ней. Услышав его шаги, она вздрогнула, бросила на него протестующий взгляд, быстро вскочила и побежала по склону дальше. Он неторопливо взобрался на голый пригорок и остановился. Надо было ждать, а может, и идти – он просто не знал, что делать. Девушка же отбежала немного и, не оглядываясь, укрылась за острым камнем, который, словно огромный причудливый клык, торчал из травы.

Тогда он бросил к ногам тужурку и лег на нее, решившись терпеливо ждать, что последует дальше.

Стало жарко. От нагретой солнцем известковой земли, поросшей жесткой, как сивец, травой, несло сухим пыльным зноем – совсем как от натопленной русской печи. Голые Ивановы плечи, спина изнывали от жары и пота. Вокруг в луговой траве мелькала и порхала в воздухе разноцветная мошкара. Изредка он поглядывал на камень, за которым спряталась Джулия, но та все не показывалась, и от истомы и духоты, от неопределенности ожидания его начала одолевать дремота. Видно, ягоды или зной притупили чувство голода, зато захотелось пить. «Вот еще не было заботы!» – подумал Иван. Надо бы идти, как можно ближе подобраться к снежному хребту, отыскать там какой-нибудь переход, добыть провианту. В самом деле, более чем нелепо обернулось все в этом его довольно удачном побеге. Чтобы не дать дремоте одолеть себя, он начал долбить каменным осколком землю, откуда-то из травы перед ним появился большой, черный, с огромными клешнями жук; очевидно удивленный неожиданной встречей, жук остановился, вытаращил рачьи глаза и ждал, грозно шевеля длинными подвижными усами. От легкого прикосновения камешком жук, растопырив все свои шесть пар ног, повалился на бок.

Иван занес было руку, чтобы щелчком отбросить прочь эту не очень приятную тварь, как вдруг услышал сзади шаги.

Он повернулся так резко, что человек, видимо, от неожиданности громко крикнул и с необыкновенной ловкостью отпрыгнул в сторону. Подкрался он совсем близко и теперь настороженно стоял в траве, умоляюще глядя на Ивана безумными глазами. Это был все тот же сумасшедший гефтлинг.

– Привет! – иронически улыбнувшись, сказал Иван. – Живем, значит?

Иван удивился, он никак не ожидал увидеть его тут, такого же дикого, загнанного, почерневшего от пота и грязи, с почти нечеловеческим выражением на иссохшем лице, в расстегнутой куртке и изодранных в клочья штанах. К тому же немец хромал, еле ступая на одну ногу. Но гляди ты, притащился, при таком состоянии просто завидным было его упрямство. Как привидение, он неотступно следовал за ними, неизвестно на что рассчитывая.

– Брот! – тихо, но с отчаянием в голосе произнес немец.

– Опять брот? – удивился Иван. – Ты что, на довольствии у нас?

Сумасшедший сделал несколько нерешительных шагов к Ивану:

– Брот!

– Ты же собирался в гестапо. К своему Гитлеру.

– Никс Гитлер! Гитлер капут.

– Капут? Давно бы так.

Вряд ли понимая его, сумасшедший, растопырив костлявые руки, терпеливо и настороженно ждал.

– Ладно, несчастный ты Фриц!

Иван запустил руку в тужурку и, не вынимая оттуда буханки, отломил маленькую

корку хлеба. Увидев ее в руках у Ивана, немец оживился, глаза его заблестели, дрожащие кисти рук в коротких оборванных рукавах потянулись вперед:

– Брот, брот!

– Держи! И проваливай отсюда.

Иван бросил хлеб немцу, но тот не поймал его, опрометью бросился на землю, обеими руками схватил корку вместе с травой и песком и вскочил. Затем, трусливо оглядываясь, боком подался вниз по склону, все быстрее и быстрее семеня ногами, видно ожидая и боясь погони.

«Может, отвяжется теперь», – подумал Иван. То, что этот гефтлинг опередил их, было безопаснее, чем если бы он все время шел сзади. Иван задумчивым взглядом проводил его, пока тот не скрылся во впадине, и снова лег.

Вчерашний его гнев к этому человеку угас, хотя он не чувствовал к нему и жалости – слишком живы были в его памяти многочисленные образы людей, которых загубили немцы. Правда, он мог быть и антифашистом по убеждениям, доведенным до животного состояния жестокостью своих соотечественников, но мог оказаться и штрафником из нацистской шайки, которому не повезло где-то в его разбойничьей службе. В концлагере были и такие. За последний побег пленных и взрыв бомбы, например, их командофюрера Зандлера (если только он останется жив) тоже по голове не погладят, могут бросить за проволоку вместо тех, кого он не смог укараулить. Впрочем, его поставят командовать и еще облекут властью (вот тебе и гефтлинг!). И как был он собакой по отношению к людям, так ею и останется, разве что ненависть его к гефтлингам в силу личной неудачи еще усилится.

Фашисты многого достигли в своем энтмэншунге³⁴ – самом подлом из всех черных дел на земле. И если их звериную жестокость к инакомыслящим еще можно было понять, то их беспощадность к своим, тем, которые не угодили в чем-либо начальству, просто была необъяснимой.

Боязнь наказания свыше стала основным побудителем их деяний: все жили под угрозой расправы, разжалования, отправки на фронт, репрессий к родственникам. И потому, должно быть, так безжалостно мстили за этот свой страх, кому это было дозволено – пленным, гефтлингам в концлагерях, оккупированным народам. И кажется странным, что на фронте немцы дрались неплохо. Может, потому, что страх наказания там приобретал двойной смысл, а выбор был небольшой: военно-полевой суд или советская пуля.

Но разве в этом было что-либо героическое? А ведь немцы явно бравировали своей храбростью, которую отказывался признавать Иван, тем более что никогда не считал себя лично ни героем, ни смельчаком.

Будь он решительнее, наверное, не дал бы себя взять в плен, что-то предпринял бы в самый последний момент, который определил навсегда его прошлое и будущее. Наверно, надо было прикончить себя... На миг в его памяти возник тот день и тот ножевой, закоптившийся от выстрелов штык, на который Иван наткнулся, рванувшись от танка. Помнились лишь штык и сапог с брезентовым ушком, торчащим из голенища, да еще рукоять гранаты. Затем все заглушила пронзившая боль в боку. Что-то кричал небритый, страшный от пыли немец, у ног лежало окровавленное тело Абдурахманова, рядом громыхал танк, и на секунду Иван потерял тогда самообладание. Эта секунда дорого обошлась ему, следы от нее в душе и на теле останутся навсегда.

В полку он ничем не выделялся среди других пехотинцев. За прежние бои получил три бумажки с благодарностью от командования да две медали «За отвагу» и думал, что на большее не способен. И уже в плену, где некому было ни вдохновлять на героические подвиги, ни награждать, где за малейшее неповиновение платили жизнью, в нем как-то сами собой проявились дух непокорства, дерзость и упрямство. Тут он увидел подноготную фашизма и, видно, впервые понял, что смерть не самое худшее из всех бед на войне.

³⁴ Буквально – расчеловечение, растление, составная часть фашистской идеологии.

– Отдашь хляб? – вдруг раздался над ним голос Джулии.
От неожиданности Иван вздрогнул и, обрадованный, порывисто обернулся.
– Отдашь хляб? – с прежней напряженностью на лице спрашивала Джулия. – Ми нон идет Триесте? Аллес финита? Да?
– Ну что ты! – сказал он, улыбнувшись. – Только корку отдал.
Она нахмурила лоб и сосредоточенно уставилась на него. Тогда он вынул из кармана остаток буханки.
– Вот, только корку, понимаешь?
Преодолевая в себе какие-то сомнения, Джулия промолчала. Лоб ее постепенно разгладился.
– Ми идет Триесте? Правда? Нон?
– Пойдем, конечно. Откуда ты взяла, что не пойдем?
На ее лице все еще отражалась внутренняя борьба. Девушка теребила на груди куртку, что-то решала про себя и вдруг опустилась рядом с ним на землю. Подняв колени, она облокотилась на них и прикрыла лицо руками. Он сидел рядом, готовый помочь ей, но она, по-видимому, пересилила себя и вскоре, встряхнув волосами, вскинула голову.
– Руссо! Ти кароши, кароши, руссо, – заговорила она и пожала его руку. – Нон Власов. Буоно руссо. Джулия плёхо.
– Ну зачем так? – мягко возразил Иван. – Зачем? Не надо.
– Очэн, очэн, – не слушая его, говорила Джулия. Видно, что-то она поняла и теперь попросила: – Иван нон бёзе Джулия...
– Ничего, все хорошо.
Сидя на земле, он осторожно взял в руки ее маленькую шершавую ладошку. Девушка не отняла ее.
– Нон бёзе Иван, – сказала она и впервые взглянула ему в глаза. – Нон бёзе Джулия. Иван знай правда. Джулия нон знат правда.
– Ладно, ладно... Ты это вот что...
– Джулия очэн, очэн уважат Иван, любит Иван, – сказала она. Его рука, державшая ладонь девушки, еле заметно дрогнула. Чтобы перевести разговор на другое, он сказал:
– Ты это... Пить не хочешь? Воды, а?
Она вздохнула и умолкла, глядя на него, затаив в глубине широко раскрытых глаз раскаяние и бездну тепла к нему.
– Вода? Аква?
– Да, воды, – отозвался он. – Вон там, кажется, ручей. Айда!
Он быстро вскочил, она тоже поднялась, обхватила его руку повыше локтя и щекой сиротливо прижалась к ней. Другой рукой он погладил ее волосы, но, почувствовав, как она внутренне напряглась, опустил руку.
Так они не спеша пошли к краю луга.

Глава девятнадцатая

Ручей был неглубокий, но очень бурный – широкий поток ледяной воды бешено мчался, взбивая по камням желтую пену и бросая ее на влажный каменистый берег. На одном из поворотов он намыл в траве широкую полосу гальки, перейдя которую Иван и Джулия вдоволь напились из пригоршней, и девушка отошла к берегу. Иван закатал разорванные собакой штаны и забрался глубже в воду. Ступни заломило от стужи, стремительное течение могло сбить с ног, но ему захотелось умыться, так как пот разъедал лицо. Он потерял свои колючие, заросшие щеки, намереваясь увидеть отражение в воде, но бурное течение не давало этого сделать. «Видно, зарос, как бродяга», – с неожиданным беспокойством подумал он и оглянулся на Джулию.

– Я страшный небритый? – спросил он девушку. Но та не отозвалась – неподвижно сидела в задумчивости, глядя в одну точку на берегу.

– Говорю, я страшный? Как старик, наверно?

Она встрепелась, вслушалась, стараясь понять вопрос, и, увидев, что он тербит свои заросшие щеки, вдруг догадалась:

– Карашо, Иван. Очэн вундэршон.

Иван умывался и думал, что с ней что-то случилось – девушка явно чем-то встревожена, что-то переживает, такой сосредоточенной она не была даже в самые трудные часы побега. Вовсе не в ее характере была такая задумчивость. Значит, какую-то боль причинил ей он, Иван. Но он, наоборот, избавился от всех своих прежних тревог и на этом луговом раздолье просто отдыхал душой. Ему было хорошо с ней, хотелось рассеять ее тревогу, увидеть Джулию прежней – искренней, веселой, доверчивой. Должно быть, надо было приласкать ее, успокоить. Только Иван все не мог перешагнуть через какую-то грань между ними, хоть и желал этого. Что-то застенчиво-мальчишеское стремилось в нем к девушке, но он сдерживал себя, колебался, медлил.

Умывшись, он набрал в пригоршни воды и издали брызнул ею на Джулию – девушка вздрогнула, недоуменно взглянула на него и усмехнулась. Он тоже улыбнулся – непривычно, во все широкое, заросшее бородой лицо:

– Испугалась?

– Нон.

– А чего задумалась?

– Так.

– Что это так?

– Так, – покорно сказала она. – Иван так, Джулия так.

Несмотря на какую-то тяжесть в душе, она охотно воспринимала его шутки и, щуря глаза, с улыбкой смотрела, как он, оставляя на гальке следы от мокрых ног, неторопливой походкой выходил на траву.

– Быстро ты наловчилась по-нашему, – сказал он, припоминая недавний их разговор. – Способная, видно, была в школе?

– О, я била вундеркинд, – шутливо сказала она и вдруг, всплеснув, руками, ойкнула: – Санта Мадонна – ильсангвэ!

– Что?

– Кров! Кров! Иль сангуэ!

Он нагнулся: по мокрой ноге от колена ползла узкая струйка крови – это открылась рана. Ничего страшного: до сих пор он не нашел времени осмотреть ее, но теперь, сев возле девушки, закатал штанину выше. Нога над коленом была сильно расцарапана собакой и, намкнув в воде, закровоточила. Джулия испуганно наклонилась к нему и, будто это была бог знает какая рана, заохала:

– О, Иванио! Иванио! Очэн болно! О Мадонна! Где получаль такой боль?

– Да это собака, – смеясь, сказал Иван. – Пока я ее душил, она и царапнула.

– Санта Мадонна! Собака!

Ловкими подвижными пальцами она начала ощупывать его ногу, стирать свежие и уже засохшие пятна крови. Он откинулся на локтях, ощущая ласковость ее прикосновений; на душе у него было хорошо и покойно. Правда, рана кровоточила, края ее разошлись, и, хотя было не очень больно, ногу полагалось перевязать. Джулия приподнялась на коленях и приказала ему:

– Гляди нах гора. Нах гора...

Он понял, что надо было отвернуться, и послушно выполнил ее просьбу. Она тотчас же что-то разорвала на себе и, когда он снова повернулся к ней, уже держала в руках чистый белый лоскут.

– Медикаменто надо. Медикаменто, – сказала она, собираясь начать перевязку.

– Какой там медикамент? Заживет как на собаке.

– Нон. Такой боль очэн плёхо.

– Не боль – рана. По-русски это – рана.

– Рана, рана. Плѣхо рана.

Он оглянулся и, увидев неподалеку серую бахромку похожей на подорожник травы, оторвал от нее несколько мелких листочков.

– Вот и медикамент. Мать всегда им лечила.

– Это? Это плантаго майор. Нон медикаменто, – сказала она и взяла из его рук листья. Он сразу же выхватил их обратно.

– Ну что ты! Это же подорожник, знаешь, как раны заживляет?

– Нон порожник. Это плантаго майор по-латыни.

– А, по-латыни. А ты и латынь знаешь?

Она шевельнула бровями:

– Джулия мнѣго, мнѣго знай латини. Джулия изучаль ботаник.

Он тоже когда-то знакомился с ботаникой, но уже ничего не помнил и теперь, больше полагаясь на народный обычай, приложил листки подорожника к распухшей ране. Девушка протестующе покачала головой, но все же начала бинтовать ногу. Впервые Иван почувствовал ее превосходство над собой. Бесспорно, образование у Джулии было куда выше, чем у него, и это увеличивало его уважение к ней. Однако Ивана не очень беспокоила рана, его больше интересовали цветы, названия которых были ему незнакомы. Потянувшись рукой в сторону, он сорвал стебелек, похожий на обычную луговую ромашку.

– А это как называется?

Проворно бинтуя лоскутком ногу, она бросила быстрый взгляд на цветок:

– Перетрум розеум.

– Ну совсем не по-нашему! А по-нашему это ромашка.

Он сорвал другой – маленький синий цветочек, напоминавший отцветший василек.

– А это?

– Это?.. Это примула аурикулата.

– А это?..

– Гентина пиренеика, – сказала она, взяв из его рук два небольших синеньких колокольчика на жестком стебельке.

– Все знаешь. Молодчина. Только вот по-латыни...

Джулия тем временем кое-как перевязала рану – сверху на повязке проступило коричневое пятно.

– Лежи надо. Тихо надо, – потребовала она.

Он с какой-то небрежной снисходительностью к ее заботам подчинился, вытянул ногу и лег на бок, лицом к девушке. Она поджала под себя колени и положила руку на его горячую от солнца голень.

– Кароши руссо, кароши, – говорила она, бережно поглаживая ногу.

– Хороший, говоришь, а не веришь. Власовцем обзывала! – вспоминая недавнюю размолвку, с упреком сказал Иван.

Она вздохнула и рассудительно сказала:

– Нон влясовец. Джулия вериш Иванио. Иванио знат правда. Джулия нон понимает правда.

Иван пристально посмотрел в ее строгие опечаленные глаза:

– А что он тебе наговорил, тот власовец? Ты где его слушала?

– Лягер слушаль, – с готовностью ответила Джулия. – Влясовец говори: руссо кольхоз голяд, кольхоз плѣхо.

Иван усмехнулся:

– Сам он подонок. Из кулаков, видно. Конечно, жили по-разному, не такой уж у нас рай. Я, правда, не хотел тебе всего говорить, но...

– Говорит, Иван, правда! Говорит! – настойчиво просила Джулия. Он сорвал под руками ромашку и вздохнул.

– Вот. Были неурожаи. Правда, разные и колхозы были. И земля не везде одинаковая. У нас, например, одни камни. Да еще болота. Конечно, всему свой черед: добрались бы и до

земли. Болот уже вон сколько осушили. Тракторы в деревне появились. Машины разные. Помощь немалая мужику. И работать начали дружно в колхозе. Вот война только помешала...

Джулия придвинулась к нему ближе:

– Иван говори Сибирь. Джулия думаль: Иван шутиль.

– Нет, почему же. Была и Сибирь. Высылали кулаков, которые зажиточные, вроде бауэров. И врагов разных подобрали. У нас в Терешках тоже четверо оказалось.

– Враги? Почему враги?

– За буржуев стояли. Коров колхозных сапом – болезнь такая – хотели заразить.

– Ой, ой! Какой плёхой челёвек!

– Вот-вот. Правда, может, и не все. Но по десять лет дали. Ни за что не дали бы. Так их тоже в Сибирь. На исправление.

– Правда?

– Ну а как ты думала.

Лежа на боку, он сосредоточенно обрывал ромашку.

– Иван очэн любит свой страна? – после короткого молчания спросила Джулия. – Белоруссио? Сибирь? Свой кароши люди?

– Кого же мне еще любить? Люди, правда, разные и у нас: хорошие и плохие. Но, кажется, больше хороших. Вот когда отец умер, корова перестала доиться, трудно было. На картошке жили. Так то одна тетка в деревне принесет чего, то другая. Сосед Опанас дрова привозил зимой. Пока я подрост. Жалели вдову. Хорошие ведь люди. Но были и сволочи. Нашлись такие: наговорили на учителя нашего Анатолия Евгеньевича, ну его и забрали. Честного человека. Умный такой был, хороший. Все с председателем колхоза ругался из-за непорядка. За народ болел. Ну и какой-то сукин сын донес, что он якобы против власти шел. Тоже десять лет получил. По ошибке, конечно.

– Почему нон защищать честно учител?

– Защищали. Писали всей деревней. Только...

Иван не договорил. Невольные яти воспоминания вызвали в нем невеселые раздумья, и он лежал, кусая зубами оборванный стебелек ромашки. Озабоченно-внимательная Джулия тихо гладила его забинтованное горячее колено.

– Все было. Старое ломали, перестраивали – нелегко это далось. С кровью. И все же нет ничего милее, чем Родина. Трудное все забывается, помнится больше хорошее. Кажется, и небо там другое – ласковее, и трава мягче, хоть и без этих букетов. И земля лучше пахнет. Я вот думаю: пусть бы опять все воротилось, как-нибудь сладили бы со своими бедами, справедливее стали бы. Главное, чтоб без войны.

– Руссо феномено Парадоксо. Удивительно, – горячо заговорила Джулия.

Иван, сплюнув стебелек, перебил ее:

– Что ж тут удивительного: борьба. В окружении буржуев жили. Армию крепили.

– О, Армата Россо побеждать! – восторженно согласилась Джулия.

– Ну вот. Видишь, силища какая – Россия! А после войны, если эту силу на хозяйство пустить, ого!..

– Джулия много слышаль Россия. Россия – само большой сила. – Она помолчала и, будто что-то припомнив, грустно улыбнулась. – Джулия за этот мысли от фатэр, иль падре, отэц, убегаль. Рома отэц делай вернисаж – юбилей фирма. Биль много гост, биль офицер СД. Офицер биль Россия, офицер говори: Россия плёхо, бедно, Россия нон култур. Джулия сказаль: это обман. Россия лючше Германи. Офицер сказаль: фройлен – коммунисти? Джулия сказаль: нон коммунисти – так правда. Иль падре ударяль Джулия, – она прикоснулась к щеке. – Пощечин это руссо говорит. Джулия убегаль вернисаж, убегаль Марио Наполи. Марио биль коммунисти. Джулия всегда думаль: руссо – карашо. Лягер Иван бежал, Джулия Иванио бежал. Руссо Иван – герой.

– Ну какой я герой! – возразил Иван. – Солдат просто.

– Нон просто сольдат! Руссо сольдат – герой! Само смело! Само умно. Само... Само... –

воодушевленно говорила она, подбирая знакомые русские слова. Во всем ее тоне чувствовалась глубокая вера в правоту идеи, которой она ни за что не хотела поступиться. – Ми видель ваш герой лягер. Ми слышаль ваш герой на Остфронт. Ми думаль: ваш фатэрлянд само сильно, само справядливо...

– Он и есть самый справедливый, – заметил Иван. – Я вот на тракториста выучился, и бесплатно... Потом в техникум поступил. Механизации. А учителей сколько стало. Из тех же мужиков...

Нахмуренные до сих пор брови ее шевельнулись, и в глазах впервые после размолвки сверкнули смешинки:

– Удивительно! Джулия любит руссо. Руссо неправильно, феноменально. Джулия всегда любит неправильно, феноменально. Иван феномено. Аномали. Руссо коммунисти Иван спасаль Русланд, спасаль буржуазно монархия Италияно, спасаль Джулия...

– Во-первых, я не коммунист: не дорос. А во-вторых, что тут такого: весь Советский Союз спасает и Италию, и Францию, и Германию... Да мало ли кого. Хотя они и буржуазные. Ведь, кроме нас, кто бы Гитлера остановил?

– Си, си. Так...

С затаенной улыбкой на губах она погладила его ногу, потом голый бок. Иван смущенно поежился, ощущая непривычное прикосновение ее ласковых рук, как вдруг она, нагнувшись, коснулась губами его синего штыкового шрама на боку. Он вздрогнул, будто его пронзили в то же место второй раз, вскинул руку, чтоб защититься от ее неожиданной ласки, но она поймала его руку, прижала ее к земле и в каком-то безудержном порыве стала целовать его шрамы: осколочный – в плече, другой, пулевой, – выше локтя, от штыка в боку, спустилась ниже и осторожно поцеловала повязку. Ошеломленный ее порывом, Иван замер, к сердцу прихлынула волна нежности, а она все целовала и целовала. И тогда какая-то грань между ними оказалась такой узкой, что балансировать на ней стало невозможно. Не зная, хорошо это или плохо, но уже отдавшись во власть какой-то неведомой, захлестнувшей его волны, он вострепнулся, приподнялся на локте, другой рукой обхватил ее через плечо, слегка прижал и, закрыв глаза, дотронулся до ее удивительно горячих упругих губ.

Потом сразу же откинулся спиной на траву, разметал руки и засмеялся, не решаясь открыть прижмуренные глаза. А когда открыл их, в солнечном ореоле растрепанных волос увидел склоненное ее лицо и полуоткрытый, сияющий, белозубый рот. В первую секунду она будто захлебнулась, кажется, хотела и не могла что-то сказать, только широко раскрыла глаза, в них были удивление, радость, неумное счастье. Припав к его груди, она обхватила шею Ивана руками и зашептала ему в лицо горячо и преданно:

– Иванио!.. Амико!..

Глава двадцатая

Что-то недосказанное, второстепенное, все время удерживавшее их на расстоянии, было преодолено, пережито счастливо и почти внезапно. Мучительные вопросы, которые до сих пор волновали Джулию, видимо, были ею отделены от главного и отодвинуты на задний план. С этого момента для обоих остались лишь пряный аромат земли, маковый дурман луга и знойный блеск высокого ясного неба. Среди дремучей первозданности гор, в одном шагу от смерти родилось неизведанное, таинственное и властное, оно жило, жаждало, пугало и звало.

Лежа на траве, Иван гладил и гладил ее узкую, нагретую солнцем спину, девушка, припав к его груди, терлась горячей щекой о его рассеченное осколком плечо. Губы ее, не переставая, шептали что-то непонятное, но Иван понимал все. Счастливо смеясь, он будто застыл в какой-то невесомости; небо вверху пьянило, кружилось, земля, словно огромное кособокое блюдо, покачивалась из стороны в сторону, готовая вот-вот опрокинуться, и оттого было сладко, боязно и хмельно.

Время, казалось ему, остановилось, исчезла опасность. У самого лица его жарко горели

ее большие черные глаза. В них теперь не было ни озабоченности, ни страдания, ни озорства – ничего, кроме властного в своем молчании зова; что-то похожее Иван чувствовал на краю бездны, которая всегда пугала и влекла одновременно. У него не было сил противостоять этому зову, да он и не знал, нужно ли сдерживаться. Он снова нащупал губами ее влажный рот, твердые зубы, привлек ее обеими руками и замер. Стало тихо-тихо, и в этой тишине величественно, как из небытия в вечность, лился, klokотал горный поток. Хотелось раствориться, исчезнуть в этих ее трепетных объятиях, унести в вечность вместе с потоком, впитать из земли ее силу и самому преобразиться в земную мощь – щедрую, тихую, ласковую...

А земля все качалась, кружилось небо, сквозь полураскрытые веки он близко-близко видел нежную округлость ее щеки, покрытую золотившимся на солнце пушком; горячей розовостью сияла освещенная сзади тонкая раковина уха. Невольно он потянулся к маленькой мочке с едва заметным следом от серьги, тихо нащупал ее зубами. Джулия упруго встрепенулась, взвизгнула. Он выпустил ухо и почувствовал под своими лопатками ее быстрые тонкие руки.

По-видимому, разбуженный ее жалобным вскриком, в нем так же растерянно отозвался незнакомый, чужой тут голос – он заколебался, запротестовал, он чего-то опасался. Однако Иван старался не слушать, заглушить в себе этот протест, он не хотел ничего знать теперь. В его сознании бурлил, плескался, шумел горный ручей, во всю глубину гудела земля, трубным хором вторил ей настойчивый и властный порыв души...

И земля напоила его своими извечными соками, неумейной силой налилось тело. Он бережно обхватил девушку, и земля с небом поменялись местами. Теперь уже ничто не имело значения – в его руках была она. Она – загадочная и неведомая, потонувшая в ярком сиянии маков, притихшая, маленькая, ослабевшая и такая властная – над землей, над собой, над ним.

Где-то совсем близко под ними, казалось, в глубинных недрах земли, гудел, бурлил, рвался шальной поток, он звал, увлекал в свои непознанные дали. Джулия забилась в его руках, на широко раскрытых ее губах рождались и умирали слова – чужие, родные, такие понятные ему слова.

Но какое значение имели теперь слова!

И земные недра, и горы, и могучие гимны всех потоков земли согласно притихли, оставив в мире только их двоих.

Глава двадцать первая

Он проснулся, испугавшись при мысли, что уснул и дал исчезнуть чему-то необыкновенно большому и радостному. Приподняв голову, сразу же увидел Джулию и улыбнулся оттого, что испуг его оказался напрасным – ничто не исчезло, не пропало, даже не приснилось, как показалось вначале.

Впервые за много лет явь была счастливее самого радостного сна.

Джулия лежала ничком, уронив голову на вытянутую в траве руку, и спала. Дыхание ее, однако, не было ровным, как у сонных людей, – порой она замирала, будто прислушиваясь к чему-то, прерывисто вздыхала во сне.

Полураскрытые губы ее шевелились, обнажая влажные кончики зубов. Он подумал сначала, что она шепчет что-то, но слов не было, губы, видимо, только отражали ход ее сновидений и так же, как и щеки и брови, слегка вздрагивали. Все эти сонные переживания ее были преисполнены нежности, наверно, снилось ей что-то хорошее, и на губах время от времени проступала тихая, доверчивая улыбка.

Они долго пробыли на этом поле. Солнце сползло с небосклона и скрылось за потемневшими зубцами гор. Погруженный в густеющий мрак, бедно, почти неуютно выглядел торжественно сиявший днем луг. Даль густо обволакивалась туманом, белесая дымка подмыла далекие сизые хребты, без остатка затопила долину. Медвежий хребет уже

потерял лесное подножие и, будто подтаявший, плавал в сером туманном море. Ярko сияли, отражая невидимое солнце, лишь самые высокие пики. Это был последний прощальный свет необычного и неожиданного, как награда, дня. Вдали, на тусклом небосклоне, уже зажглась и тихо горела одинокая печальная звездочка.

Он снова повернулся к Джулии. Надо было подниматься и идти, но она сладко спала, такая беспомощная, обессиленная, что он просто не посмел нарушить ее сон. Он начал жадно всматриваться в ее подвижное во сне лицо, будто впервые видел его. После всего, что между ними произошло, каждая ее улыбка во сне, каждая гримаска обретали свой особенный смысл. Хотелось смотреть на нее долго, пристально, стараясь проникнуть в тайну дорогой человеческой души. Он обнаружил в ней неожиданное – чистое и радостное – и, кажется, чуть не захлебнулся от своего первого в жизни опьянения. Теперь, правда, хмель несколько убавился, зато ощущение счастья усилилось, и он, не двигаясь, в совершеннейшем одиночестве, как на непостижимую тайну, смотрел и смотрел на нее – маленькое человеческое чудо, так поздно и счастливо открытое им в жизни.

А она все спала, прикинув к широкой груди земли. Слабо подрагивали ее тонкие ноздри, и маленькая божья коровка задумчиво ползла по ее рукаву. Поднявшись с полосатой складки на бугорок плеча, она расправила крылышки, чтобы взлететь, но не взлетела, поползла дальше. Иван осторожно сбросил козявку, бережным прикосновением поправил на шее девушки тесемку с крестиком. Она не проснулась, только слегка перевела дыхание. Тогда он осторожно одернул на ее спине завернувшийся край куртки и улыбнулся. Кто бы мог подумать, что она за два дня станет для него всем, пленит его душу в такое, казалось бы, неподходящее для этого время? Разве мог он предвидеть, что во время четвертого побега, спасаясь от гибели, так неожиданно встретит первую свою любовь? Как все запуталось, переплелось на этом свете! Неизвестно только, кто перемешал все это – люди или дьявол, иначе как бы случилось такое – в плену, в двух шагах от смерти, с чужой незнакомой девушкой, явившейся из совершенно другого мира и так неожиданно оказавшейся самой дорогой и значительной из всех, кто когда-нибудь встречался на его пути.

И все же надо было идти дальше. «Не время отлеживаться, пора будить Джулию», – подумал он, но и сам прилег рядом с ней, сбоку, осторожно, чтоб не нарушить ее сна. Охваченный нежностью к девушке, он отвел от ее головы низко нависшие стебли мака, смахнул белого порхающего мотылька, намеревавшегося сесть на ее волосы. «Пусть еще немного поспит, – думал Иван, усаживаясь поудобнее на траве. – Еще немного – и надо будет идти. Идти вниз, в долину...»

Над затуманенной громадой гор в спокойном вечернем небе тихо догорал широкий Медвежий хребет. По крутым его склонам все выше ползла сизая тень ночи, и все меньше становилось розового блеска на зубцах-вершинах. Вскоре они и вовсе погасли, хребет сразу поник и осел; серыми сумерками окутались горы, и на светлом еще небе прорезались первые звезды. Однако Иван уже не видел их – он уснул с последней мыслью: надо вставать.

Разбудила его уже Джулия. Наверное, от холода она заворочалась, плотнее прижимаясь к нему, сонный Иван сразу почувствовал это и проснулся. Она обхватила его рукой и горячо зашептала незнакомые, чужие, но теперь очень понятные ему слова. Он обнял ее, и снова сомкнулись их губы...

Было уже совсем темно. Похолодало. Черными в полнеба горбами высились ближние горы, вверху ярко горели редкие звезды; ветер стих совсем – даже не шелестели маки, только, не умолкая, ровно шумел, клокотал рядом поток. Все травы этого луга ночью запахи так сильно, что их аромат хмелем наполнял кровь. Земля, горы и небо дремали во тьме, а Иван, приподнявшись, склонился над девушкой и долго смотрел ей в лицо, какое-то другое теперь, не такое, как днем, – затаившееся, будто ночь, и точно слегка настороженное. В больших ее глазах мерцали темные зрачки, а в их глубине блестело несколько звезд. По ее лицу блуждали неясные ночные тени. Руки ее и ночью не теряли своей трепетной нежности и все гладили, ласкали его плечи, шею, затылок.

– Джулия! – тихо позвал он, прижимая ее к себе.

Она покорно отозвалась – тихо, с лаской и преданностью:

– Иванио!

– Ты не сердись на меня?

– Нон, Иванио.

– А если я оставлю тебя?

– Нон, амиго. Иван нон оставить. Иван – руссо. Кароши, мили руссо.

Торопливо и упруго, с неожиданной для нее силой она прижала его к себе и тихо засмеялась:

– Иван – марито! Нон синьор Дзангарини, нон Марио. Руссо Иван – марито.

Он удовлетворенно, даже с затаенной гордостью в душе спросил:

– А ты рада? Не пожалеешь, что Иван – марито?

Она вскинула пушистые ресницы, затененные его склоненной головой, и звезды в ее зрачках, дрогнув, запрыгали.

– Иван – кароши, кароши марито. Мы будем маленько-маленко филиё... Как это руссо, скажи?

– Ребенок?

– Нон ребёнок. Как это маленько руссо?

– А, сын, – слегка удивленный, догадался он.

– Да, син! Это карашо. Такой маленько-маленко, карашо син. Он будет Иван, да?

– Иван? Ну, можно и Иван, – согласился он и, взглянув поверх нее на черный массив хребта, вздохнул.

Она притихла, о чем-то думая. Оба на минуту умолкли. Каждый погрузился в свои мысли. А вокруг тихо лежали горы, скупое поблескивали редкие звезды, черной непроглядной пеленой покрылся маковый луг. Было тихо-тихо, только мерно бурлил поток; но он не нарушал тишины, и Ивану казалось, что во всем мире их только трое – они и поток. Последние ее слова постепенно согнали с его лица улыбку, исчезла шутливая легкость, он наткнулся на что-то трудное и серьезное в себе, впервые обнаружив еще одно осложнение в их и без того непростых отношениях. А Джулия, наоборот, что-то осмыслив, снова радостно встрепенулась и сжала его в объятиях:

– Иванио! Иванио, карашо! Как это карашо – филиё! Син! Маленьки син!

Потом разняла руки, повернулась лицом вниз – звезды в ее зрачках исчезли, и лицо тускло засерело светлым пятном, на котором в глубоких тенях чуть заметно мерцали глаза. Короткое возбуждение ее внезапно сменилось тревогой.

– Иванио, а где ми будэт жить? – Она немного подумала. – Нон Рома. Рома отэц уф бёзе! Триесте?..

– Что наперед загадывать!.. – сказал он.

– О! – вдруг тихо воскликнула она. – Джулия знат. Ми будэт жить Белоруссию. Дэрэвня Тэрэшки, близко-близко два озера... Правда?

– Может быть, что ж...

Вдруг она что-то вспомнила и насторожилась:

– Тэрэшки кольхоз?

– Колхоз, Джулия. А что?

– Иванио, плёхо кольхоз?

– Ну что ты! Я же сказал... Хорошо. Война только помешала.

Большой своей пятерней он взьерошил ее жесткие густые волосы, она, уклонясь, высвободила голову и пригладила ее.

– Джулия растет большой кароши волёс. Большой волёс красиво, да?

– Да, – согласился он. – Красиво.

Она помолчала немного и потом, возвращаясь к прежнему разговору, сказала:

– Иван будэт лавораре фэрма, плантация. Джулия будэт... Как это? Виртин вилла³⁵. Ми

³⁵ Хозяйка виллы (итал.).

сделаем много-много маки. Как этот люг.

– Да, да, – задумчиво соглашался Иван. У него очень заломила нога, надо было поправить повязку, но он не хотел лишний раз беспокоить девушку. Он лишь выпрямил и свободнее положил ногу в траве, рассеянно слушая Джулию, которая все говорила и говорила рядом.

– Ми будэт много-много счастья... Я очэн хочу счастья. Должен быть человек счастья, правда, Иванио?

– Да, да...

Наверно, Джулию одолевал сон, голос ее становился все тише, мысли путались, и вскоре девушка умолкла. Он тихонько погладил ее плечо, подумал: надо дать ей отдохнуть, выспаться, все равно сколько уж осталось той ночи – первой и, пожалуй, последней ночи их счастья. А завтра идти. Только кто знает, что уготовило им это завтра?

Он долго смотрел в небо – один на один со вселенной, с сотней звезд, больших и едва заметных, с серебристой тропой Млечного Пути через все небо, – и тревожное беспокойство все настойчивее вторгалось в его душу.

За годы войны он совсем отвык от естественной человеческой потребности в счастье. Все его силы расходовались на то, чтобы как-нибудь выжить, не дать уничтожить себя. Конечно, придет время, человечество уничтожит фашизм, люди испытают великую радость братства, свободную, без границ и запретов, любовь, только вряд ли суждено этого дожидаться им с Джулией. Милая сердечная девушка, она в мечтах залетает так высоко, совсем не представляя, что уготовано им на пути в Триест. Вырвавшись из лагеря и познав любовь в этом удивительном мире цветов, она решила, что все страшное уже позади. О, если бы это было так! Но стоит немного подумать, и станет понятно, сколько еще испытаний впереди: оживленные автострады в долине, бурные горные реки, населенные пункты. А заставы, собаки... И вдобавок ко всему огромный, недоступный снежный хребет! Как перейти его им, раздетым, разутым, голодным?

Одно лишь то, что ожидало их в ближайшие дни, могло заставить задуматься каждого, будь он на их месте. А потом? Что их ждало потом, в случае, если бы тут все удалось, – об этом даже не хотелось думать. Не вовремя, ой как не вовремя сошлись они на этой тропинке и полюбили друг друга.

А почему? Почему человек не может иметь маленькой надежды на счастье, ради которого рождается на этот свет и к которому всю жизнь стремится? Почему бы и в самом деле не приехать ей в тихие его Терешки у двух голубых озер, если она хочет этого, если он любит ее, как, очевидно, не способен полюбить ни одну девушку в мире? И – он ясно понимал это – она была бы лучшей в мире женой.

Как чудесно было бы привезти эту черноглазую хохотушку в его деревню! Разве не полюбили бы ее деревенские люди и разве она осталась бы в долгу перед ними? Что из того, что они малограмотные и, может, даже не очень культурные, зато чистосердечные, добрые, участливые в беде и щедрые в радости – почему бы не полюбить таких?

Он не мог представить себе разлуку с ней. Только с ней, пока он будет жив, а там, черт его побери, хоть бы и смерть. Смерти он не боялся, мог побороться за себя, тем более теперь, когда надо бороться за жизнь двоих. Пусть попробуют взять ее от него! А она безмятежно спала на боку, поджав к животу колени. Он встал, осмотрелся и опять сел рядом с ней, хмурый и злой, наверное оттого, что очень хотелось есть, а главное – болела нога. Голень, кажется, распухла. Сильно давила повязка. Иван немного ослабил ее, ощупал – нога пылала жаром, его начала пробирать дрожь. Пришлось взять из травы ненавистную полосатую куртку и закутаться, но теперь и она грела слабо. Через минуту, прислушиваясь к себе, Иван подумал: «Не хватало еще заболеть, что тогда будет? Нет, так нельзя! – подбадривал он себя. – Держись! Во что бы то ни стало держись!»

Но что-то уже изменилось в нем самом. Иван чувствовал это, и тревога, как вода в

дырявую лодку, все больше просачивалась в его сознание. Хорошо, что Джулия ничего не подозревала и сладко спала в маках. Он тоже сел рядом, босые ноги засунул под полу тужурки, которой прикрыл ее, и стал всматриваться в ночь. Вскоре его начало клонить ко сну, одолевала усталость. Но рядом доверчиво спала она, и Иван должен был сидеть так, оберегая ее сон.

Уже на рассвете он не выдержал и незаметно задремал, уткнувшись лицом в колени.

Глава двадцать вторая

Притихшая, пока он спал, тревога внезапным толчком ударила в сердце. Иван сразу проснулся и в то же мгновение услышал близкий непонятный крик:

– Во бист ду, руссэ? Зи габэн брот! Зи габэн филе брот³⁶.

Постепенно светало, хотя солнце еще не взошло; вокруг было неуютно и серо. На луг надвигалось облако, и гор не было видно. Косматые пряди тумана, цепляясь за поникшие росистые маки, ползли и ползли вдоль склона. Иван сорвал тужурку с ног Джулии, она вскочила, испуганно заговорила о чем-то, а он, стоя на коленях, пристально всматривался в ту сторону, откуда донесся этот крик. Вскоре Иван догадался, что это сумасшедший, но сразу же показалось – он не один, с ним люди. И действительно, не успел он в тумане что-либо увидеть, как послышался злобный приглушенный окрик:

– Хельтс мауль!³⁷

Джулия поняла все и бросилась к Ивану. Вцепившись в рукав его куртки, она жадно всматривалась вниз, в серый туман, в котором мелькнули живые тени. Но Иван схватил ее за руку и, пригнувшись, бросился к ручью. В другой его руке была тужурка, колодки же остались в маках.

Молча они побежали вдоль ручья вверх.

Иван не выпускал из своей руки пальцев Джулии; девушка, растерянно оглядываясь, едва поспевала за ним. Он старался найти подходящее место, чтобы перебраться на ту сторону – там можно было укрыться в скалах и густых зарослях рододендрона. Но поток бешено мчался с гор, бросаться в его быстрину было бессмысленно.

«Хорошо, что облако! Хорошо, что облако!» – стучала в его голове утешительная мысль. Стремительные клочья тумана пока укрывали их. «Проклятый сумасшедший, почему я не убил его? Все они, сволочи, одного поля ягоды!» – в отчаянии думал Иван и безжалостно тащил вверх Джулию. Они уже миновали поворот потока, взобрались на обрывистый здесь берег, дальше было открытое место. Поток со страшной силой несся по камням, от намерения перейти на ту сторону, очевидно, надо было отказаться. Прежде чем выскочить на луговой росистый простор, Иван, тяжело дыша, упал на колени, обернулся – туман заметно редел, уже стали видны дальние камни в маках, голое пятно взлобка, где он вчера дожидался Джулию. И тут в тумане показалось несколько гитлеровцев – неширокой цепью рассыпавшись по лугу, они приближались к тому месту, где Иван с Джулией провели ночь.

Иван взглянул на Джулию – ее полусонное лицо отражало испуг и крайнюю усталость. «Хоть бы выдержала! Хотя бы она выдержала!» – страстно пожелал Иван. Теперь только ноги могли принести спасение, и, слегка отдышавшись, он снова схватил ее за руку. Она бежала с огромным напряжением, но не отставала от него.

Задышавшись, они выбрались на верхний участок луга, ноги по колени намокли от росы. Однако с каждой минутой Иван все сильнее прихрамывал на правую ногу, которая странно отяжелела, будто стала чужой – сначала он так и подумал, что, задремав, отсидел ее. Но

³⁶ Где ты есть, русский? Они дадут хлеб! У них много хлеба (нем.).

³⁷ Молчать! (нем.)

неподатливая вялость в ней не проходила, в сухожилиях под коленом сильно болело. Джулия вскоре заметила его хромоту и испуганно дернула Ивана за руку.

– Иванио, нёга?

Он проволоч ногу по траве, стараясь ступать как можно осторожнее, но ему это плохо удавалось. Тогда Джулия, оглянувшись, бросилась перед ним на колени и вцепилась в штанину, намереваясь осмотреть рану.

– Надо вязат, да? Я немножко вязат, да?

Он решительно отвел ее руки:

– Ничего не надо. Давай быстрее.

– Больно, да? Больно? – спрашивала она с тревогой в больших глазах, заботливо всматриваясь в него. Было заметно, как от усталости под полосатой курткой бешено билось сердце; высоко поднятые жесткие брови нервно подрагивали.

– Ничего, ничего...

Преодолевая боль, он торопливо заковылял дальше. Рука Джулии выскользнула из его пальцев, и он не взял ее – девушка, поминутно оглядываясь, бежала следом.

– Иванио, амиго, ми будет жит? Скажи, будет? – в отчаянии, от которого разрывалось сердце, спрашивала она.

Иван взглянул на нее, не зная, что ответить, но в ее взгляде было столько мольбы и надежды, что он поспешил утешить:

– Будем, конечно. Быстрее только...

– Иванио, я бистро. Я бистро. Я карашо...

– Хорошо, хорошо...

Они уже добежали до верхней границы луга, тут где-то в камнях начиналась тропинка, по которой они пришли сюда ночью; в скалах, пожалуй, можно было бы укрыться. Но облако уже сползло с луга, стало светлее, туман на глазах редел, в разрывах его отчетливо видны были красные заросли маков, камни; эти разрывы все увеличивались. «Черт, неужели не вырвемся? Неужели увидят? Нет, этого не должно быть!» – успокаивал себя Иван и поднимался все выше и выше. Имея уже некоторый опыт побегов, он понимал всю сложность такого положения и знал, что если немцы обнаружат их, то вряд ли упустят.

Тропы, однако, не было, они взбирались по травянистому косогору. Хорошо еще, что подъем был не очень крутой, мешали только низкорослые заросли рододендрона, которые вконец искололи их ноги. Правда, чуть выше начинался густой хвойный стланник, в нем уже можно было укрыться. Джулия не отставала, напрасно он беспокоился об этом. Босая, с окровавленными ступнями, она пробиралась чуть впереди него, и, когда оглядывалась, он видел на ее лице такую решимость избежать беды, которой не замечал за все время их пути из лагеря. Теперь ей будто не мешали ни камни, ни усталость, ни колючки, ни скальные выступы. словно тигрица, она яростно боролась за жизнь.

– Иванио! Скоро, скоро...

Она уже торопит его! Заметив это, Иван сжал зубы – кажется, его дела становились все хуже. Нога еще больше налилась тяжестью, распухла в колене, он украдкой поднял разорванную штанину и сразу же опустил – колено сделалось как бревно, затвердело и посинело. «Что за напасть, неужто заражение?»

А тут, как на беду, последние клочья облака проплыли мимо и полностью открыли взору край луга, ярко зардевший маками. И сразу из тумана появились одна, вторая, третья темные, как камни, фигуры немцев. Человек восемь их устало шли лугом, подминая цветы и настороженно оглядывая склоны гор.

Теперь уже можно было не скрываться...

Иван сел, бросив тужурку, рядом остановилась поникшая, растерянная Джулия – несколько секунд от усталости они не могли произнести ни слова и молча смотрели на своих преследователей. А те вдруг загалдели, кто-то, вскинув руку, указал на них, донесся зычный голос команды. Посреди цепи тащился человек в полосатом, руки его, кажется, были связаны за спиной, и двое конвоиров, когда он остановился, толкнули его в спину. Это был

сумасшедший.

Немцы сразу оживились и с гиканьем кинулись вверх.

– Ну что ж, – сказал Иван. – Ты только не бойся. Не бойся. Пусть идут!

Чтобы не мешала тужурка, он надел ее в рукава и достал из кармана пистолет. Джулия застыла в молчании. Брови ее сомкнулись, на лицо легла тень упрямой решимости. Он взглянул на девушку, но страха в ее глазах не увидел. Она уже отдышалась, и от недавней тревоги в темных больших глазах осталась лишь печаль обреченности.

– Пошли! Пусть бегут – запарятся!

– Шиссен будет? – удивленно спросила Джулия, будто только теперь поняла, что им угрожает.

– Стрелять далеко. Пусть стреляют, если патронов много.

Действительно, немцы пока не стреляли, они только кричали свое «хальт!», но беглецы торопливо поднимались выше, к зарослям стланика. Оправившись от первого испуга, Джулия опять стала подвижной, быстрой, внимательной и, казалось, готовой ко всему.

– Пусть шиссен! Я не боялся. Пусть шиссен! – говорила девушка.

Непрестанно оглядываясь, она подбежала к Ивану и взяла его за руку. Он благодарно пожал ее холодные пальцы и не выпустил их.

– Иванио, эсэсман шиссен – ми шиссен! Ми нон лагер, да? Да?

Он озабоченно шевельнул бровью.

– Конечно. Ты только не бойся.

– Я не бойся. Руссо Иван не бойся – Джулия не бойся.

Он не боялся. Слишком много пережил он за годы войны, чтобы и теперь бояться. Как только немцы обнаружили их, он почувствовал странное облегчение и внутренне подобрался: в хитрости уже отпала надобность, теперь только бы дал бог силы. И еще, конечно, чтобы рядом оставалась Джулия. С этого момента начинался поединок в ловкости, меткости, быстроте – надо было удирать и беречь силы, не подпустить немцев на выстрел, пробиваться к облакам, с ночи неподвижно лежащим на вершинах гор, и там оторваться от преследователей. Иного выхода у них не было.

Глава двадцать третья

Наконец они добрались до стланика, но прятаться в нем не стали – в укрытии уже не было надобности. Осыпая ногами песок и щебень, хватаясь руками за колючие ветви, Джулия первой влезла на край крутой осыпи и остановилась. Иван, с усилием заноса больную ногу, карабкался следом. На самом крутом месте, у верха обрыва, он просто не знал, как ступить, чтоб выбраться из-под кручи: так болела нога. Тогда девушка, став на колени, протянула ему свою тоненькую слабую руку. Он взглянул на синие прожилки вен на ее запястье и сделал еще одну попытку вылезти самому – разве она смогла бы вытащить его? Но Джулия что-то затараторила на странной смеси итальянских, немецких и русских слов, настойчиво подхватила его под мышку, поддержала, и он в конце концов взвалил на край обрыва свое отяжелевшее тело.

– Скоро, Иванио, скоро! Эсэс!

Действительно, немцы догоняли их: самые проворные уже перешли луг и карабкались по крутизне; остальные старались не отставать. Последним, со связанными за спиной руками, спотыкаясь, брел сумасшедший, которого подталкивал конвоир. Кто-то из передних, увидев беглецов возле стланика, закричал и выпустил очередь из автомата. Выстрелы протрещали в утреннем воздухе и, подхваченные эхом, гулко раскатились по далеким ущельям. Иван оглянулся – конечно, до немцев было далеко, а когда снова шагнул вперед, чуть не наткнулся на Джулию, лежавшую на склоне.

– Ты что?

– Нон, нон! Нон эршиссен! – оглядываясь с радостным блеском в глазах, сказала она и вскочила. Лицо ее загорелось злым озорством. – Сволячи эсэс! – звонким, негодующим

голосом закричала она на немцев. – Фарфлюхтер! Швайн!

– Ладно, брось ты! – сказал Иван. Надо было беречь силы. Что пользы дразнить этих сволочей? Но Джулия не хотела просто так умирать – злость и наблевшие обиды пересиливали всякое благоразумие.

– Гитлер капут! Гитлер кретино! Ну, шиссен, ну!

Немцы выпустили еще несколько очередей, но беглецы были намного выше преследователей, и в таком положении – Иван это знал – согласно законам баллистики попасть из автоматов было почти невозможно. Это почувствовала и Джулия – то, что вокруг не просвистело ни одной пули, вызвало у нее ликование.

– Ну, шиссен! Шиссен, ну! Фашисто! Бриганти!³⁸

Она раскраснелась от бега и азарта, глаза ее горели злым черным огнем, короткие густые волосы трепетали на ветру. Видимо исчерпав весь запас бранных слов, она схватила из-под ног камень и, неумело размахнувшись, швырнула его. Подскакивая, он покатился далеко вниз.

От обрыва первым полез вверх Иван. Кое-как они карабкались вдоль стланика, подъем становился все круче. Черт бы их побрал, эти заросли. Хорошо, если бы они были там, внизу, где еще можно было укрыться от погони, а теперь они только мешали, кололись, цеплялись за одежду. Лезть же через них напрямик было просто страшно – так густо переплелись жесткие, как проволока, смоляные ветки. То и дело бросая тревожный взгляд вверх, Иван искал более удобного пути, но ничего лучшего тут не было. Вверху их ждал новый, еще более сыпучий обрыв, и он понял, что влезть на него они не смогут...

Джулия, однако, не видела и не понимала этого. Занятая перебранкой с немцами, она немного отстала и теперь торопливо догоняла его. Запыхавшись, он присел и вытянул на камнях большую ногу.

– Иванио, нёга? – испуганно крикнула она снизу. Он не ответил.

– Нёга? Дай нёга!

Он молча встал и снова посмотрел вверх, на обрыв; она тоже взглянула туда, осмотрела сыпучую стену и насторожилась.

– Иванио!

– Ладно. Пошли.

– Иванио!

Ее лицо передернулось будто от боли, она оглянулась – немцы быстро лезли по их следам.

– Иванио, морто будем! Нон Тэрэшки. Аллес нон?

– Давай быстрее! Быстрее, – не отвечая, строго прикрикнул Иван: иного выхода, как повернуть в стланик, у них не было. И он, закусив губу, сунулся в непролазную его чащу, которой чурались даже звери. Тотчас колючие иглы сотнями впились в ноги, но он, не обращая на них внимания, оберегал только колено; от боли и напряжения на лбу выступил холодный пот. Не очень остерегаясь колючек и камней, он яростно полез через стланик в обход кручи.

– Ой, ой! Ой! – с отчаянием восклицала Джулия и лезла за ним, то и дело цепляясь за колючки и падая. Иван не успокаивал ее и не торопил – он лишь посматривал на край обрыва, где вот-вот должны были показаться немцы.

Правда, на этот раз беглецам повезло: они добрались почти до верхней границы зарослей, когда внизу из-за кручи вылез первый эсэсовец. Теперь он уже был опасен, потому что разница в высоте между ними и немцами стала незначительной. Как только немец поднял голову, Иван торопливо прицелился из пистолета и выстрелил.

В горах прокатилось гулкое эхо.

Он, разумеется, не попал – было далеко, но немец из предосторожности шмыгнул под

³⁸ Ну, стреляйте! Стреляйте, ну! Фашисты! Разбойники! (итал.)

обрыв, и вслед за тем раздалась длинная автоматная очередь. «Тр-р-р-рт... р-р-р-т... р-т...» – все дальше относя ее, удлинители очередь горы. Когда эхо затихло, беглецы бросились дальше. Внезапный пистолетный выстрел испугал немцев, и на круче какое-то время никто не появлялся. Потом из-за обрыва показалась полосатая фигура – первой ее увидела Джулия.

– Иванио, гефтлинг!

Сумасшедший, широко расставляя ноги, влез на обрыв и, шатаясь, закричал своим отвратительным сорванным голосом.

– Руссэ! Руссэ! Хальт! Варум ду гейст вэг? Зи волен брот габэн!³⁹

– Цурюк!⁴⁰ – крикнул Иван.

Сумасшедший испуганно пригнулся и попятился назад. Там на него – слышно было – закричали немцы, которые немного погодя почти все сразу, сколько их было, высыпали из-за обрыва.

Положение ухудшалось. До седловины, где кончался стланик, было рукой подать, но тут немцы могли уже достать их из автоматов. Надо было во что бы то ни стало задержать эсэсовцев и прорваться за седловину. Иван опустил на колено, сунул ствол пистолета в шаткую развилку стланика и выстрелил второй раз, затем третий. Потом, пригнувшись, затаился в низкорослых зарослях. В это время к нему подросла Джулия:

– Иван, нон патрон аллес! Нон аллес!⁴¹

Он понял, прикоснулся к ее худенькому плечу, желая тем самым успокоить девушку – два патрона он, конечно, оставит. Он ждал выстрелов в ответ, но немцы молчали, широкой цепью они тоже полезли в стланик. Тогда он вскочил и, пригибаясь, чтоб хоть немного прикрыться, заковылял вверх, к седловине над кручей.

Наверно, немцы все же допустили ошибку, когда, глядя на беглецов, тоже подались в стланик. Эти заросли не только задерживали движение, они мешали видеть противника, прицеливаться, и, пока эсэсовцы возились там, Иван с Джулией понемногу продвигались вверх. Ожидая выстрелов сзади, они наконец выскочили из стланика, задыхаясь, добежали до узенькой седловины и почти скатились по другой ее стороне. Отсюда Иван прежде всего окинул взглядом местность: с одной стороны под низко нависшими облаками поднимался такой же, как и сзади, крутой каменистый склон; прямо из-под ног уходил спуск в лощину, за которой начиналась новая невысокая горная складка. Там и сям над горами плыли белые, как овечьи стада, облака, а над ними сплошная завеса туч закрывала снежные вершины.

Едва они выбежали из седловины, Джулия, сложив на груди ладони, упала на колени, и губы ее быстро-быстро зашептали какие-то слова.

– Ты что? Быстрее! – крикнул он.

Она не ответила, прошептала еще несколько слов, и он, сильно хромя, побежал вниз. Она торопливо вскочила и быстро догнала его.

– Санта Мария поможет. Я просит очэн, очэн...

Он искренне удивился:

– Брось ты! Кто поможет!

Не зная, куда податься, и не в силах уже лезть вверх, они спустились наискосок по склону в лощину. Седловина с кручей пока еще защищала их от немцев. Бежать вниз было намного легче, тело, казалось, само несло вперед, только от усталости подгибались колени. Иван все сильнее хромал. Джулия опережала его, но далеко не отбегала и часто оглядывалась. Очевидно, то, что они вырвались чуть не из-под самого носа немцев, вызвало

³⁹ Русский! Русский! Стой! Почему ты убегаешь? Они хотят дать тебе хлеба! (нем.)

⁴⁰ Назад! (нем.)

⁴¹ Иван, только не все патроны! Не все! (нем.)

у девушки неудержимый азарт. Задорно оглядываясь на Ивана, она лепетала с надеждой и радостью:

– Иванио, ми будет жит! Жит, Иванио! Я очэн хотель жит! Браво, вита!⁴²

«Ой, рано, рано радоваться!» – думал Иван, оглядываясь на бегу, и тотчас увидел на седловине первого эсэсовца. Он с трудом вылез из-за камней, высокий, в подтянутых бриджах. Мундир на нем был расстегнут, и на груди белела рубашка. Нет, он не спешил стрелять, хотя они были и не очень далеко от него и намного ниже. С полминуты он смотрел на них, стоя на месте, а потом крикнул что-то остальным, наверно подходившим к нему сзади, и захохотал. Смеялся он долго, что-то кричал вдогонку беглецам. Потом, вместо того чтобы бежать за ними, сел на камень и снял с головы пилотку.

Джулия подскочила к Ивану и затормошила его:

– Иванио, Иванио, смотри. Он благороди тэдэско! Он пустиль нас! Пустиль... Смотри!

Иван не мог понять, почему они не стреляли и не преследовали, почему они оставили их и все остановились на седловине. Один из них отошел в сторону и, размахивая автоматом, закричал:

– Шнеллер! Шнеллер! Ляуф шнеллер!⁴³

– Иванио, тэдэски пустиль нас! – на бегу с вдруг загоревшейся радостью лепетала Джулия. – Ми жит! Ми жит!

Иван молчал.

«Что за напасть? Что они надумали?» Все это действительно казалось ему странным. Но Иван был уверен, что это неспроста, что эсэсовцы не от доброты своей остановили погоню, они готовят что-то еще более худшее.

Но что?

Иван с Джулией добежали до самого дна лощины, сквозь рододендрон продрались на другую ее сторону – невысокий, пологий склон-взлобок – и обессиленно поплелись наверх. Выветрившийся песчаник и колючки низкорослой травы вконец искололи их ноги, но теперь они не ощущали жесткости земли. Джулия то убегала вперед, то возвращалась, оглядываясь на немцев. Радость ее все возрастала по мере того, как они отходили от седловины. Однако унылый, обеспокоенный вид Ивана в конце концов не мог не обратить на себя ее внимания.

– Иванио, почему фурыёзо? Нёга, да? – обеспокоенно спросила она.

– Не нога...

– Почему? Ми будем жит, Иванио, ми убегаль...

Кажется, он уже догадался, в чем было дело. Не отвечая ей, Иван торопливо ковылял по взлобку, который дальше круто загибался вниз. Он скрывал их от немцев, это было хорошо, но... Они выходили из-за пригорка, и тут Джулия, наверное также о чем-то догадавшись, вдруг остановилась. Горы впереди расступились, на пути беглецов необъятным простором засинел воздух – внизу лежало мрачное ущелье, из которого, клубясь, полз к небу туман.

С вдруг похолодевшими сердцами они молча добежали до обрыва и отшатнулись – склон круто падал в затуманенную бездну, в которой кое-где серели пятна не растаявшего зимнего снега.

Глава двадцать четвертая

Джулия лежала на каменном карнизе в пяти шагах от обрыва и плакала. Он не успокаивал ее, не утешал – сидел рядом, опершись руками на замшелые камни, и думал, что, наверное, все уже кончилось. Впереди и сбоку к ним подступал обрыв, с другой стороны

⁴² Да здравствует жизнь! (итал.)

⁴³ Быстрее! Быстрее! Удирай быстрее! (нем.)

начинался крутой скалистый подъем под самые облака, сзади, в седловине, сидели немцы. Получилась самая отменная западня – надо же было попасть в такую! Для Джулии это было слишком внезапно и мучительно после вдруг вспыхнувшей надежды спастись, и он теперь не уговаривал ее – не находил для этого слов.

Из пропасти несло промозглой сыростью, их разгоряченные тела начали быстро остывать; вокруг в скалах, словно в гигантских трубах, выл, гудел ветер, было облачно и мрачно. Но почему немцы не идут, не стреляют, столпились вверху на седловине – одни сидят, другие стоят, обступив полосатую фигуру безумного? Иван всмотрелся и понял: они развлекались. Раскуривая, тыкали в гефтлинг сигаретами – в лоб, в шею, в спину, – и гефтлинг со связанными руками व्यюном вертелся между ними, плевался, брыкался, а они ржали, обжигая его сигаретами.

– Руссэ! Рэттэн! Руссэ!⁴⁴ – летел оттуда истошный крик сумасшедшего.

Иван насторожился – сволочи, что они еще выдумали там? Почему они такие безжалостно-бесчеловечные и к своим и к чужим – ко всем? Неужели это только от душевной низости, ради забавы?

Похоже было, немцы чего-то ждали, только чего? Возможно, какой-либо подмоги? Но теперь ничто уже не страшно. Теперь явная финита, как говорит Джулия. Четвертый его побег, видимо, станет последним. Жаль только вот это маленькое человеческое чудо – эту черноглазую говорунью, счастье с которой было таким хмельным и таким мимолетным. Хотя он и так был благодарен случаю, который послал ему эту девушку в самые последние и самые памятные часы его жизни. После всего, что случилось, как это ни странно, умирать рядом с ней было все же легче, чем в ненасытной печи крематория.

Джулия, кажется, выплакалась, плечи ее перестали вздрагивать, только изредка подергивались от холода. Он снял с себя тужурку и, потянувшись к девушке, бережно укрыл ее. Джулия встрепенулась, пересилила себя, села и запачканными, в ссадинах кулачками начала вытирать заплаканные глаза.

– Плёхо, Иванио. Ой, ой, плёхо!..

– Ничего, не бойся! Тут два патрона, – показал он на пистолет.

– Нон счастья Джулия. Фина вита⁴⁵ Джулия, – в отчаянии говорила она.

Он неподвижно сидел на земле, неотрывно следя за немцами, и все внутри у него разрывалось от горя и беспомощности. Перед собственной совестью он чувствовал себя ответственным за ее судьбу. Только что он мог сделать? Если бы хоть немного доступнее был обрыв, а то проклятый, нависший над бездной карниз, за ним еще один, а дна так и не видно в мрачном тумане, даже не прослушивался шум потока. Опять же нога, разве можно удержаться на такой крутизне? И вот все это, собравшись одно к одному, определило их неизбежный конец.

– Руссэ! Рэттэн! Рэттэн! Руссэ! – слабо доносился из седловины голос безумного.

Джулия, увидев на седловине немцев, привстала на колени и вскинула маленькие свои кулачки:

– Фашисти! Бриганти! Своляч! Нэйман зи унс! Ну?⁴⁶

На седловине примолкли, затихли, и ветер вскоре донес оттуда приглушенный расстоянием голос:

– Эй, рус унд гурен! Ми вас будет убиваль!..

И вслед второй:

⁴⁴ Русский! Спаси! Русский! (нем.)

⁴⁵ Конец жизни (итал .).

⁴⁶ Берите нас! Ну? (нем.)

– Ком плен! Бросай холодна гора. Шпацирен горяча крематориум!..

Лицо Джулии снова загорелось яростной злостью.

– Нейм! Нейм! – махала она кулачками. – Ком нейм унс! Нун, габен зи ангст?!⁴⁷

Немцы выслушали долетевшие до них сквозь ветер слова и один за другим начали выкрикивать непристойности. Джулия, злясь от невозможности ответить им в таком поединке, только кусала губы. Тогда Иван взял ее за плечи и прижал к себе. Девушка послушно припала к его груди и в безысходном отчаянии, как дитя, заплакала.

– Ну не надо! Не надо. Ничего, – неловко успокаивал он, едва подавляя в себе приступ злобного отчаяния.

Джулия вскоре затихла, и он долго держал ее в своих объятиях, горько думая, как здорово все началось и как нелепо кончается. Наверно, он абсолютный неудачник, самый несчастный из всех людей – не смог воспользоваться такой благоприятной возможностью спастись. Голодай, Янушка и другие сделали бы это куда лучше – добрались бы уже до Триеста и били бы фашистов. А он вот завяз тут, в этих проклятых горах, да еще, как волка, дал загнать себя в ловушку. Видно, надо было, как и взялся, рвать ту бомбу – пусть бы бежали другие. А так вот... И еще погубил Джулию, которая поверила в тебя, побежала за тобой, полюбила... Оправдал ты ее надежды, нечего сказать!

Он прижимал к груди ее заплаканное лицо, неясно, сквозь собственную боль ощущая трепет ее рук на своих плечах. Это вместе с отчаянием по-прежнему вызывало в нем невысказанную нежность к ней.

Потом Джулия села рядом, поправила рукой растрепанные ветром волосы:

– Малё, малё волёс. Нон большой волёс. Никогда!

От горя он только стиснул зубы. Рассудок его никак не мог примириться с неотвратимостью гибели. Но что сделать? Что?

– Иванио, – вдруг оживившись, воскликнула она. – Давай манджаре хляб. Есть хляб!

Она достала из кармана остатки хлеба и с неожиданно вспыхнувшей радостью в заплаканных глазах разломила его пополам:

– На, Иванио.

Он взял большой кусок, но на этот раз не стал делиться, уравнивать порции – теперь это не имело смысла. С наслаждением они проглотили хлеб – последний остаток своего запаса, который берегли до Медвежьего хребта. И тут Иван с новой остротой почувствовал неизбежность конца. Странно, но с этим куском вдруг исчезла последняя надежда выжить – съев его, они тем самым как бы подытожили все свои жизненные заботы, и теперь осталось только одно – прожить недолгие минуты и умереть. Ивана снова охватила тоска при мысли о напрасной трате стольких усилий и в такое время! Ребята на востоке уже освободили родную землю, вышли за границы Союза, идут сюда, и он уже не встретит их, хотя так рвался навстречу...

Джулия бросала полные отчаяния взгляды на мрачные ущелья, то и дело посматривала на тех, вверху, что не уходили, сидели, караулили их тут.

– Иванио! Где ест Бог? Где ест Мадонна? Где ест справядливость? Почему нон кара фашизм? – спрашивала она, в горе ломая тонкие смуглые руки.

– Есть справедливость! – точно очнувшись, крикнул он. – Будет им кара! Будет!

– Где ест кара? Где? Энглиш? Американ? Совет Унион?

– Конечно! Советский Союз. Он свернет хребты этим сволочам.

– Совет Унион?

– Ну конечно.

Джулия с внезапной надеждой в глазах устремилась к нему.

– Он карашо? Люче, люче все?

Иван не понял, спросил:

⁴⁷ Натe! Натe! Идите возьмите нас! Ну, боитесь? (нем.)

– Что?

– Россия карашо? Справедливо? Благородно! Иванио вчера говори правду, да?

И вдруг будто в новом свете и совершенно другими, чем прежде, глазами увидел он и ее, и себя, и далекую свою Родину – то, чем она была для него всю жизнь и чем могла быть.

– Да, – твердо сказал он. – Россия – чудесная, хорошая, справедливая страна. Лучше ее нет! А что еще будет! После войны! Когда раздавим Гитлера. Вот увидишь... Эх, если бы хоть один день!.. Один только день!..

В неудержимом порыве Иван сорвал с камня жесткую поросль мха. Захлестнутый бурной волной нестерпимо жгучей любви к далекой своей Отчизне, он больше ничего не мог сказать, чувствуя, что готов заплакать, чего никогда с ним не случалось. Джулия, видно, поняла это и ласково прикоснулась к его колену.

– Я знат, – почти сквозь слезы, но со светлой улыбкой произнесла она. – Я знат. Я верит тебе. Я думаль, немножко Иван говорит неправда. Я ошибался...

Она как-то сразу приободрилась. Было холодно, из ущелья дул пронизывающий ветер, и она запахла полы тужурки. Только красные, окровавленные ступни ее стыли на камне – прикрыть их было нечем. Вдруг она, будто вспомнив о чем-то, привстав на колени, просто, без всякого перехода, запела:

Расцетали явини и гуши,
Попили туани над экой...

Иван удивился: уж очень неуместной показалась ему песня на краю этой могилы. Но увидев, как застыли на седловине немцы, тоже стал подпевать.

Видно, песня удивила немцев, они что-то закричали. Иван не слышал этих выкриков, он проникся простенькой этой мелодией, которая внезапно вырвала их из состояния обреченности и унесла в иной, человеческий и несказанно светлый мир.

Однако немцы недолго удивлялись их дерзости – вскоре кто-то из них сорвал автомат и выпустил очередь. На этот раз тут и там пули высекали на камнях стремительные дымки, которые сразу подхватил ветер. Иван дернул Джулию за полы тужурки, девушка неохотно пригнулась и спрятала голову за камень. «Стреляйте, сволочи, стреляйте! Пусть слышат! – подумал он, имея в виду лагерь, в котором всегда прислушивались к каждому выстрелу с гор. – Пусть знают: еще живы!»

Несколько минут они лежали за каменным барьером, пережидая, пока над ущельем громом отгрохочут очереди. Пули все же редко попадали сюда: немцы больше пугали, стараясь держать их в страхе и покорности. Потом автоматы умолкли. Далеко раскатилось эхо, и не успело оно заглухнуть, как откуда-то со стороны луга прорвались сквозь ветер новые, знакомые звуки. Вскинув голову, Джулия хотела что-то сказать, но Иван жестом остановил ее – они стали вслушиваться, напряженно глядя друг на друга. Несмотря на то, что рядом была Джулия, Иван зло выругался – за седловиной заливались лаем собаки.

Долго подавляемый гнев вдруг прорвался в Иване, он поднялся на широко расставленные ноги – разъяренный и страшный.

– Звери! – закричал он на немцев. – Звери! Сами боитесь – помощников ведете! Все равно нас не взять вам! Вот! Поняли?

Конечно, они легко могли застрелить его, но не стреляли. Кажется, они старались понять, что прокричал им этот флюгпункт. От нервного возбуждения Иван весь трясся, его знобило – начинался жар. Он оглянулся – вверху немного прояснилось, в разрыве облаков стали видны блестящие от утренних лучей просветы голубизны. Казалось, вот-вот должен был выплыть из туч Медвежий хребет, до которого они не дошли. Очень хотелось увидеть его и солнце, но их все не было, и оттого стало невыносимо горько.

Иван опустил на землю – то, что вот-вот должно было произойти, уже не интересовало его, он знал все наперед. Он даже не оглянулся, когда собаки появились на

седловине. Овчарки шли все время по следу и были разъярены погоней. Джулия вдруг бросилась к Ивану, прижалась к нему и закрыла лицо руками:

– Нон собак! Нон собак! Иванио, эршиссен! Скоро!.. Эршиссен!

Гнев и первое потрясение, прорвавшиеся в нем, сразу исчезли, он снова стал спокойным. Убить себя было просто, куда страшнее то же самое сделать с Джулией, но он должен это сделать. Нельзя было позволить эсэсовцам взять их живыми и повесить в лагере – пусть волокут мертвых! Если уж не удалось вырваться на свободу, так надо досадить им хотя бы своей смертью.

В это время немцы пустили собак.

Одна, две, три, четыре, пять пегих, спущенных с поводков овчарок, распластавшись на бегу, устремились по склону; за ними бежали немцы. Поняв, что вот-вот они окажутся тут, Иван вскочил, схватил за руку Джулию, та бросилась ему на шею и захлебнулась в плаче. Он чувствовал, что надо что-то сказать. Самое главное, самое важное осталось у него в сердце, но слова почему-то исчезли, а собаки с визгом неслись уже по лощине. Тогда он оторвал ее от себя, толкнул к обрыву – на самый край пропасти. Девушка не сопротивлялась, лишь слабо всхлипывала, будто задыхаясь, глаза ее стали огромными, но слез в них не было – был только страх и подавляемый страхом крик.

На обрыве он кинул взгляд в глубину ущелья – оно по-прежнему было мрачным, сырым и холодным; тумана, однако, там стало меньше, и в пропасти ярко забелели снежные пятна. Одно из них узким длинным языком поднималось вверх, и в сознании его вдруг сверкнула рискованная мысль-надежда. Боясь, что не успеет, он ничего так и не сказал Джулии, а опустил уже поднятый пистолет и толкнул девушку на самый край пропасти:

– Прыгай!

Джулия испуганно отшатнулась. Он еще раз крикнул: «Прыгай на снег!» – но она снова всем телом качнулась назад и закрыла руками лицо.

Собаки тем временем выскочили на взлобок. Иван почувствовал это по их лаю, который громко раздался за самой спиной. Тогда он сунул в зубы пистолет и подскочил к девушке. С внезапной яростной силой он схватил ее за воротник и штаны и, как показалось самому, бешено ногами вперед бросил в пропасть. В последнее мгновение успел увидеть, как распластанное в воздухе тело ее пролетело над обрывом, но попало ли оно на снег, он уже не заметил. Он только понял, что самому с больной ногой так прыгнуть не удастся.

Собаки бешено взвыли, увидев его тут, и Иван подался на два шага от обрыва. Впереди всех на него мчался широкогрудый поджарый волкодав с одним ухом – он перескочил через камни и взвился на дыбы уже совсем рядом. Иван не целился, но с неторопливым, почти нечеловеческим вниманием, на которое был еще способен, выстрелил в его раскрытую пасть и, не удержавшись, сразу же в следующего. Одноухий с лету юзом пронесся мимо него в пропасть, а второй был не один – с ним рядом бежали еще два, и Иван не успел увидеть, попал он или нет.

Его недоумение оборвал бешеный удар в грудь, нестерпимая боль пронизала горло, на миг мелькнуло в глазах хмурое небо, и все навсегда погасло...

Вместо эпилога

«Здравствуйте, родные Ивана, здравствуйте, люди, знавшие Его, здравствуй, деревня Терешки у Двух Голубых Озер в Белоруссии.

Это пишет Джулия Новелли из Рима и просит вас не удивляться, что незнакомая вам синьора знает вашего земляка, знает Терешки у Двух Голубых Озер в Белоруссии и имеет возможность сегодня, после нескольких лет поисков, послать вам это письмо.

Конечно, вы не забыли то страшное время в мире – черную ночь человечества, когда с отчаянием в сердцах тысячами умирали люди. Одни, уходя из жизни, принимали смерть как благословенное освобождение от мук, уготованных им фашизмом, – это давало им силы достойно встретить финал и не погрешить перед своей совестью. Другие же в героическом

единоборстве сами ставили смерть на колени, являя человечеству высокий образец мужества, и погибали, удивляя даже врагов, которые, побеждая, не чувствовали удовлетворения – столь относительной была их победа.

Таким человеком был и ваш соотечественник Иван Терешка, с которым воля Провидения свела меня на трудных путях победной борьбы и огромных утрат. Мне пришлось разделить с Ним последние три дня Его жизни – три огромных, как вечность, дня побега, любви и невообразимого счастья. Судьбе не угодно было дать мне разделить с Ним и смерть – рок или обычный нарастающий сугроб снега на склоне горы не дали мне разбиться в пропасти. Потом меня подобрала добрая люди – согрели и спасли. Конечно, это случилось позже, а в тот первый миг после моего падения в пропасть, когда я открыла глаза и поняла, что жива, Ивану в живых уже не было – вверху под облаками утихал вой псов, и лишь эхо Его последних двух выстрелов, отдаваясь, грохотало в ущелье.

Постепенно я возвратилась к жизни. Она поначалу казалась мне лишенной всякого смысла без Него, и долгие месяцы моего одиночества были полны лишь теми скорбными и счастливыми днями, прожитыми с Ним. Я могла бы описать вам, какой это был человек, но думаю, вы лучше меня знаете Его. Я хочу только сообщить, что вся моя последующая жизнь была неразрывно связана с Ним, так же как и моя скромная общественная деятельность в Союзе борьбы за мир, в издании профсоюзной газеты, наконец, в воспитании сына Джиованни, которому уже восемнадцать лет и который готовится стать журналистом. (Между прочим, это он перевел на русский язык мое письмо, хотя и я изучила ваш язык, но, конечно, не столь совершенно, как сын.) Еще в моей комнате висит карта Белоруссии – страны, так горячо любимой Иваном. Жаль, что у меня нет фото Ивана. Хоть бы какое-нибудь: детское, юношеское или еще лучше – солдатское...

Иногда, вспоминая Ивану, я содрогаюсь от мысли, что могла бы не встретиться с Ним, попасть в другой лагерь, не увидеть Его схватки с командофюрером, не побежать за Ним после страшного взрыва – пройти в жизни где-то мимо Него, не соприкоснуться с Ним. Но этого не случилось, и теперь я говорю спасибо Провидению, спасибо всем испытаниям, выпавшим на мою долю, спасибо случаю, сведшему меня с Ним.

Вот и все. Финита.

С благодарностью ко всем – родившим, воспитавшим и знавшим Человека, истинно русского по доброте и достойного восхищения по своему мужеству. Не забывайте Его!

Спасибо, спасибо за все.

Уважающая вас

Джулия Новелли из Рима».